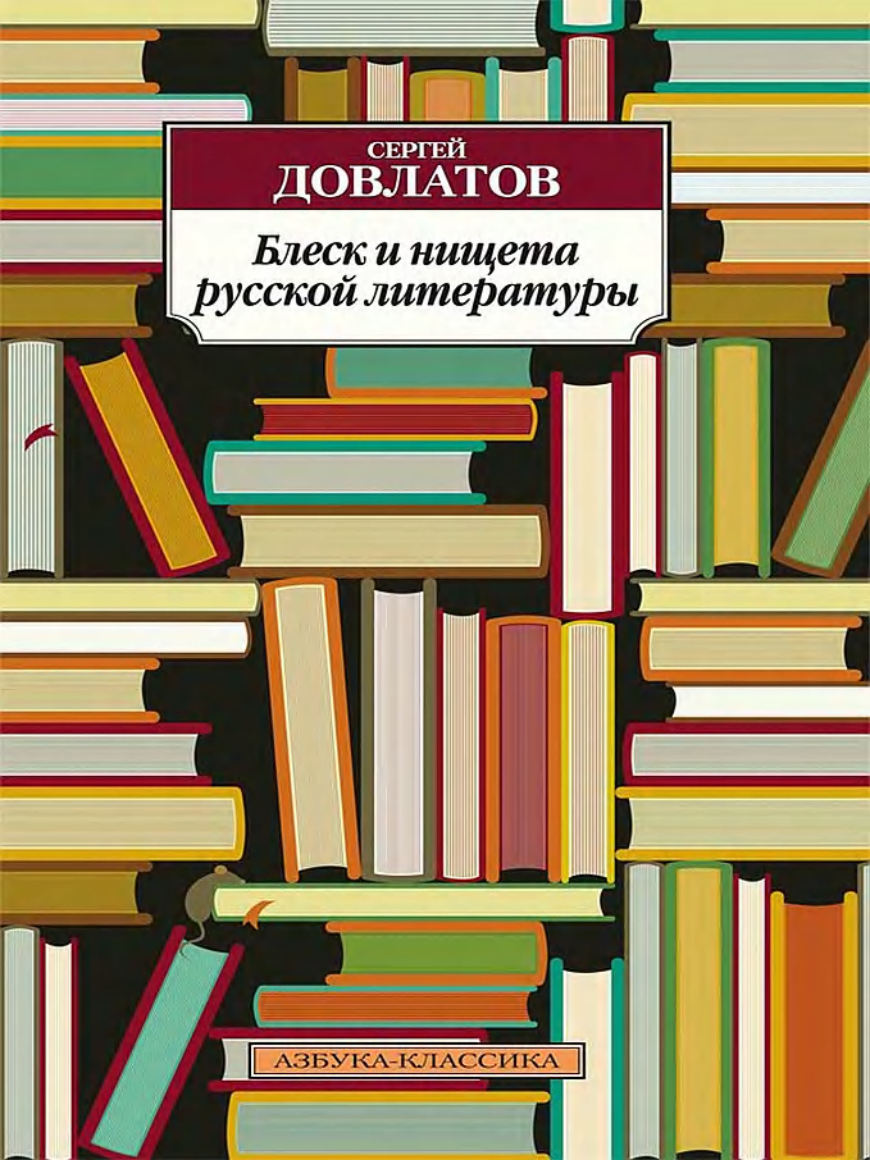




СЕРГЕЙ
ДОВЛАТОВ

*Блеск и нищета
русской литературы*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Сергей
ДОВЛАТОВ

*Блеск и нищета
русской литературы*

Филологическая проза



Санкт-Петербург
2013

Сергей Донатович
ДОВЛАТОВ
1941 — 1990

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6
Д 58

Составление, вступительная статья и комментарии
И. Н. Сухих

Оформление обложки В. А. Гореликова

Довлатов С.

Д 58 Блеск и нищета русской литературы: Филологическая проза. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 256 с.

ISBN 978-5-389-05135-5

В сборнике «Блеск и нищета русской литературы» впервые достаточно полно представлена филологическая проза Сергея Довлатова. Он писал о Пушкине и Толстом, В. Уфлянде и А. Синявском, Кафке и Хемингуэе (как «русских» и личных авторах).

Рецензии Довлатова, журнальная поденщина, превращаются то в литературные портреты, то в очерки литературных нравов и смыкаются с такой же «литературой о литературе», как «Невидимая книга» или «Соло на ундервуде».

Филологическая проза Довлатова отличается не объективностью, а личным тоном, язвительностью, юмором — теми же свойствами, которые характерны для его «обычной» прозы.

Тексты С. Довлатова впервые сопровождаются реальным комментарием профессора, д. ф. н. И. Н. Сухих. Он же автор вступительной статьи к книге.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6

- © С. Довлатов (наследники), 2010
- © И. Сухих, состав, статья, комментарии, 2013
- © В. Пожидаев, оформление серии, 2012
- © ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-05135-5

ФИЛОЛОГ ДОВЛАТОВ: ЗАЧЕТ ПО КРИТИКЕ

«Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось.

Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака» («Чемодан»).

Сергей Довлатов проучился на филфаке два с половиной года (в одном из писем он гордо говорит о девяти годах) и был — вполне заслуженно — отчислен за неуспеваемость. «В январе напротив деканата появился список исключенных. Я был в этом списке третьим, на букву „Д“. Меня это почти не огорчило. <...> Я ждал этого момента. Я случайно оказался на филфаке и готов был покинуть его в любую минуту» («Филиал»). Сегодня, кстати, фамилия Довлатова значится на сайте выпускников факультета журналистики СПбГУ — как не окончившего курс!

Филология, однако, — не только профессия, но — дар, сродный поэтическому, только, возможно, более редкий. Есть крупные специалисты, являющиеся филологами лишь по диплому. Любовь к слову можно подменить биографической фактографией, «умными» теоретическими разглагольст-

вованиями, фельетонной полемикой с другими словолюбами, да мало ли еще чем.

«Бывший филолог в нем все-таки ощущался», — заметил позднее Довлатов об одном из товарищей. Природный филологизм не скроешь и не пропьешь.

Человек («это самореклама и безвкусица»), восклицающий (в «Соло на ундервуде»): «Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной», — или (в повести «Иностранка»): «О Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!» — природный филолог, какие бы оценки по специальности он ни получал.

Писатель, который специально следит за тем, чтобы слова в предложении не начинались с одной буквы (некоторым собратьям, филфаки окончившим, это казалось чудачеством или просто глупостью), — кто он, если не филолог?

«Довлатов должен был родиться профессором Хиггинсом. Его бросало в жар от неграмотного правописания и произношения. <...> Сергей был нетерпим к пошлым пословицам и поговоркам, к ошибкам в ударениях, к вульгаризмам и украинизмам. Люди, говорящие „позвОнишь“, „катАлог“, „пара дней“, переставали для него существовать. Он мог буквально возненавидеть собеседника за употребление слов „вкуснятина“, „ладненько“, „кушать“ („мы кушали в семь часов“), „на минуточку“ („он на минуточку оказался ее мужем“), „Звякни мне утром“ или „Я подскочу к тебе вечером“» (Штерн Л. Довлатов — добрый мой приятель. СПб., 2005. С. 82).

Довлатов не просто был природным филологом, он сделал филологию предметом своей литературы. В записных книжках есть анекдоты о филфаковских профессорах и множество размышлений на литературные темы. Одна из сюжетных линий «Филиала» — любовь на Университетской набережной, 11.

Не менее существенно и другое: филологическая прививка (проблемы писательства, журналистики, издательского дела, включая такие «мелочи», как опечатки) становится важной чертой, характеризующей довлатовского лирического героя, того сквозного, лейтмотивного персонажа Алиханова — Довлатова — Далматова — Пожилого писателя, который скрепляет все довлатовские тексты.

Александр Солженицын начинает книгу «Бодался теленок с дубом» с пренебрежительной «оговорки»: «Есть такая немалая, *вторичная* литература: литература о литературе; литература вокруг литературы; литература, рожденная литературой (если б не было подобной перед тем, так и эта б не родилась). Сам я, по профессии, такую почитать люблю, но ставлю значительно ниже литературы первичной. А написанного всего так много, а читать людям все меньше досуга, что кажется: мемуары писать, да еще литературные — не совестно ли?»

Но далее следует огромный том «очерков литературной жизни», да еще со многими дополнениями. Однако для Александра Исаевича он — приложение к первичной литературе «Архипелага ГУЛАГ», «Ракового корпуса» и «Круга первого».

Сергей Довлатов парадоксально начинает именно со «вторичной прозы» («Невидимая книга»), продолжая ее в «Компромиссе», «Невидимой газете», колонках «Нового американца», «Записных книжках». Этот литературный быт он делает литературным фактом, интересным не только профессионалам.

Естественно, тексты, которые привычно называют литературной критикой, занимают скромное, но необходимое место в его собрании-наследии.

Обычно говорят, что в СССР Довлатов напечатал то ли два, то ли три текста. Это неправда. Публикаций с подписью «С. Довлатов» за десятилетие литературных мытарств тоже набралось больше десятка (примерно по одной в год!). Просто рецензии, опубликованные в ленинградских журналах «Звезда» и «Нева», автор хотел забыть, точно так же, как не любил вспоминать повести в той же «Неве» и популярнейшей «Юности», попасть в которую хотелось каждому молодому (и не только молодому) автору.

«Портрет хорош, годится для кино, но текст — беспрецедентное г...!» — эпитафия на публикацию в «Юности», честно приведенная в «Невидимой книге».

Довлатову пришлось рецензировать книжки современных авторов (наиболее заметные — сборник юмористических притч Ф. Кривина «Калейдоскоп» и роман А. Розена «Осколок в груди»), историко-литературную монографию А. Горелова «Три судьбы», посвященную Тютчеву, Сухово-Кобылину и Бунину, воспоминания старого большевика и

даже книгу о борьбе португальских коммунистов с салазаровской диктатурой.

Увидеть в этой критической продукции хоть что-то неординарное довольно трудно. Она исполнена по унылым общим лекалам, без всякого усилия понимания.

«Мемуары Н. Е. Буренина — еще одно свидетельство той замечательной роли, которую сыграла интеллигенция в революционной борьбе» (*Довлатов С. Н.* Е. Буренин. Памятные годы. Лениздат, 1967 // Звезда. 1967. № 8. С. 218).

«Не все равноценно в этом романе, но автору удалось показать движение человеческих судеб, определенное историческими обстоятельствами. Написано еще одно произведение о гражданской войне и революции — мы снова убеждаемся в неисчерпаемости и величии темы» (*Довлатов С.* История, люди. Виктор Бакинский. История четырех братьев. Л.: Советский писатель, 1971 // Невы. 1973. № 2. С. 194).

«Встреча с новым поэтическим именем должна быть праздником для читателя. Поэт не должен спешить с изданием книги. А издательству следует внимательней относиться именно к первому поэтическому сборнику автора. Иначе праздника не получится» (*Довлатов С.* Александр Шкляринский. Городская черта: Стихи. Лениздат, 1971 // Звезда. 1972. № 2. С. 218).

Лишь изредка в этих безличных отзывах-коротышках возникает лицо рецензента.

В банальном, по оценке Довлатова, повествовании безошибочно выделена точная деталь: «И вдруг среди этих расхожих, маловыразительных трюиз-

мов — осязаемый и горестный штрих блокадной зимы: „До сих пор в ушах этот ужасный скрип пустой ложки по дну...“» (*Довлатов С. Нина Петролли. Первое лето. Л.: Советский писатель, 1975 // Звезда. 1975. № 10. С. 219*).

Неуклюжая, напыщенная похвала, которая так и просится в довлатовские записные книжки в качестве объекта осмеяния («В повести „Анастасия“ судьба Игоря Лукашова становится полем глубокой и убедительной дискуссии» — судьба становится полем!), вдруг, в следующем же предложении, искупается любимым довлатовским оксюмором: «Есть какое-то грозное обаяние (! — *И. С.*) в тете Насте, с ее одинокой преданностью вере, с ее аскетизмом и полным самоотречением» (*Довлатов С. Э. Аленик. Анастасия. М.: Советский писатель, 1970 // Звезда. 1971. № 9. С. 218*).

Однако увидеть эти блески мы можем, лишь зная о будущем автора, фамилией которого подписана рецензия.

«Есть люди, у которых разница между халтурой и личным творчеством не так заметна, — признавался Довлатов в интервью. — А у меня, видимо, какие-то другие разделы мозга этим заняты. Если я делаю что-то заказное, пишу не от души, то это очевидно плохо. В результате — неуклюжая глупая публикация, которая ничего тебе не дает: ни денег, ни славы» («Дар органического беззлобия»).

Любопытно, что и у «американского» Довлатова напряжение, конфликт и контраст между своим и заказным, халтурой и личным творчеством, в общем, сохраняется. В эссе «Трудное слово» он вы-

деляет два значения: «В первом случае халтура — это дополнительная, внеочередная, выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во втором случае халтура — это работа, изделие, продукт труда, который выполнен быстро, недобросовестно, кое-как. В первом случае понятие „халтура“ носит более или менее позитивный характер, во втором случае — негативный». При этом автопсихологический герой «Филиала» называет себя «опытным халтурщиком».

Тут не обойтись еще без одного понятия, которое припомнил И. Бродский в замечательной статье-некрологе «О Сереже Довлатове»: «Он жил литературной поденщиной, всегда скверно оплачиваемой, а в эмиграции и тем более. <...> Тем не менее это была подлинная, честная, страшная в конце концов жизнь профессионального литератора, и жалоб я от него никогда не слышал».

Есть существенная разница между халтурой и поденщиной. Халтура — работа вполсилы, спустя рукава на заказную, нелюбимую тему. Поденщина — неизбежное для литератора-профессионала отвлечение от главного, труд, тоже не совсем близкий сердцу, но выполненный в полную силу.

«Поденщина» — уничижительно-гордо называлась одна из книжек Виктора Шкловского (1930). На поденщине вполне можно ставить фирменный знак, это дополнительный том в собрании сочинений (если автор такое собрание все-таки заслужил).

Довлатовская «халтура» в первом значении, это, пожалуй, и есть поденщина в смысле Шкловского—Бродского.

Критика, как литературная, так и «говорная» (скрипты на радио «Свобода»), конечно, и в эмиграции была для Довлатова поденщиной. Но и здесь он, как «опытный халтурщик», нашел способы совмещения ее с основным занятием.

Довлатов вполне предсказуем, когда вынужден писать традиционные рецензии — на книги уже не о пламенных революционерах, а о гибели академика Вавилова или антисоветском юморе. Он ведет себя как филфаковский третьекурсник, сдающий скучный зачет равнодушному преподавателю: честно пересказывает содержание, мимоходом отмечает «художественные особенности», в заключение хвалит или скромно критикует автора за какие-то мелочи: случайный принцип разделения материала по томам или неточное указание опубликованных в СССР стихов Бродского (хотя сам в другой рецензии даст иную цифру). Культурный контекст ограничивается упомянутыми через запятую другими писателями и риторическими выпадами против советских властей (или Советской власти).

Но Довлатов мгновенно меняется, подключает другие «разделы мозга», когда от разбора переходит к рассказу, от текстов — к авторам, от высказывания литературных мнений — к выяснению человеческих отношений.

Рецензии превращаются в литературные портреты («Рыжий», «Верхом на улитке») или очерки литературных нравов («Литература продолжается», «Переводные картинки») и смыкаются с такой же «литературой о литературе», как «Невидимая книга» или «Соло на ундервуде».

Создавать портрет может мелкий штрих, кинжально выделенная психологическая деталь, иногда буквально ОДНО слово.

«И, наверное, все чаще рвется из глубины души этого старого, умного, талантливового, циничного и беспринципного человека отчаянный вопль:

— За что боролись?! За что ЧУЖУЮ кровь проливали?!

И гробовая тишина — в ответ» («Чернеет парус одинокий»).

«Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. <...> По утрам он бегаёт трусцой. Даже — находясь в командировке. Даже — наутро после банкета в ресторане „Моне“... <...> Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да ещё — после банкета в ресторане „Моне“...» («Литература продолжается»).

Критическая статья (рецензия) трансформируется при таком подходе в литературные картинки, *филологическую прозу*.

В «Записных книжках» Довлатов четко, но опять-таки не логически, а наглядно-топографически разграничил точки зрения филолога и критика. «Критика — часть литературы. Филология — косвенный продукт ее. Критик смотрит на литературу изнутри. Филолог — с ближайшей колокольни».

В халтурных рецензиях Довлатов даже на современников пытается смотреть равнодушно-почтительно, с ближайшей колокольни. «Рассказ написан легко, изящно, со свойственным Владимову юмором и без малейшего нагнетания ужасов, и все-таки, читая его, испытываешь чувство обреченности и бессилия» («Красные дьяволята»). «Так

именно на Западе были изданы лучшие вещи Замятина, Булгакова, Платонова, Войновича, Володина, Аксенова, Гладиллина, Синявского-Терца, Габриэля-Губермана, Сагаловского, Камова-Канделя и многих, многих других мастеров горького, язвительного, беспощадного и очищающего смеха» («Антология смеха»). Получается, в общем, безлико, никак, неотлично от потока.

Но когда автор спускается с колокольни, меняет историческую оптику на актуальное выяснение отношений даже с классиками, давно ставшими предметом филологических штудий, картина резко меняется, писательское обаяние возвращается к нему.

Особенно замечательна в этом смысле университетская лекция перед американскими студентами «Блеск и нищета русской литературы». Вместо спокойного хронологического перечисления авторов и конкретных характеристик произведений Довлатов создает из русских классиков и современников два непримиримых лагеря — публицистов и эстетов — и предлагает даже не портреты, а мгновенные шаржи, где историческая объективность приносится в жертву очевидной личной пристрастности.

Вот довлатовский Тургенев: «Тургенев начал с гениальных „Записок охотника“, затем писал романы „с идеями“ и уже при жизни утратил свою былую славу. Защищая Тургенева, его поклонники любят говорить о выдающихся описаниях природы у Тургенева, мне же эти описания кажутся плоскими и натуралистичными, они, я думаю, могли бы заинтересовать лишь ботаника или краеведа. Герои Тургенева схематичны, а знаменитые

тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться. В наши дни мне трудно представить себе интеллигента, перечитывающего романы Тургенева без какой-либо практической или академической цели вроде написания ученой диссертации на тему: „Тургенев и русская общественная мысль 60-х годов девятнадцатого столетия“».

А вот — еще хлеще — Лев Толстой: «Лев Толстой, написав десяток гениальных книг, создал затем бесплодное нравственное учение, отрекся от своих произведений, исписал тысячи страниц необычайно скучными баснями для народа и почти дегенеративными трактатами об искусстве, о балете и шекспировской драме и умер в страшных нравственных мучениях на заброшенной железнодорожной станции, покинув семью и не разрешив ни одну из мучивших его проблем».

Было бы скучным педантизмом спрашивать, кто считает критерием качества литературных персонажей желание с ними познакомиться, какие толстовские басни составляют тысячи страниц, почему «каторга, ссылка, солдатчина» Достоевского связаны «с попытками утвердить себя во внехудожественных сферах» (ведь не сам же себя он отправил на каторгу). Это, скорее, литературные анекдоты в духе Хармса (хотя слушатели Довлатова о таком авторе, вероятно, не подозревали).

Зато этим общественно-озабоченным личностям противопоставлены образы «чистого эстета», «художника по преимуществу» Пушкина (как будто он не писал «Вольность» и послания к декабристам) и истинного европейца Чехова, «не за-

пятнавшего себя никакими общественно-политическими выходками и фокусами» (как будто поездка на Сахалин или выход из почетных академиков не были такими фокусами).

Филологическая проза Довлатова привлекательна не объективностью, а как раз личным тоном, язвительностью или юмором — теми же свойствами, которыми отличается его «обычная» проза.

Но в ней есть и другое: точность характеристики, добытая, однако, не рефлексивно-логическим путем, накоплением и анализом материала, а мгновенным афористическим уколом.

Когда-то Довлатова называли *писателем фразы*: «Он и рассказ стремился разместить на каркасе фразы (или фраз), но, бывало, фразой и ограничивался» (*Лемхин М.* Прощай, Сергей // *Русская мысль.* 1990. № 3843. 31 августа. С. 17).

У Довлатова есть не только фразы-рассказы, но и фразы — критические статьи, даже фразы-диссертации, вполне допускающие логическое развертывание, но замечательно обходящиеся и без этого.

«Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом. Разумеется, гениальным провинциалом. Даже „Крейцера соната“ — провинциальный шедевр.

А теперь вспомним Чехова. Например, его любимую тему: раскачивание маятника супружеской жизни от идиллии к драме. Вроде бы что тут особенного. Для Толстого это мелко. Достоевский не стал бы писать о такой чепухе.

А Чехов сделал на этом мировое имя. Благодаря общечеловеческому ферменту» («Как издаваться на Западе?»).

«Мне кажется, что любой из присутствующих сможет обнаружить в истории литературы своего двойника» («Две литературы или одна?»).

«Нет сомнения, что лучшие из нас по обе стороны железного занавеса рано или поздно встретятся в одной антологии» («From USA with love»).

«Внутренний мир — предпосылка. Литература — изъятие внутреннего мира. Жанр — способ изъятия, прием. Талант — потребность в изъятии. Ремесло — дорога от внутреннего мира к приему» (это уже из «Записных книжек»: целый эстетический трактат, уместившийся в пять коротких фраз).

И, трудно удержаться, — замечательное следующее определение: «Юмор — инверсия жизни. Лучше так: юмор — инверсия здравого смысла. Улыбка разума».

В общем, и филологическая проза Доватова стоит на тех же двух китах, что и проза обычная: *анекдоте* и *афоризме*.

В недавнем мемуаре о давнем рассказано, как студент Довлатов сдавал зачет (почему-то на другой кафедре, где до сих пор работает автор этого вступления). «На следующий день я на кафедре истории русской литературы принимаю зачет. Студенты уже готовятся, и вдруг в дверях появляется тот самый Довлатов. Не торопясь, с достаточно обреченным видом, он подходит к моему столу и, возвышаясь надо мной, начинает говорить: „Вы знаете, я сейчас должен сдавать вам сербский язык....“ Я понимаю, что сейчас он начнет мне долго и нудно объяснять, что он не был, пропустил, не нашел, не понял. Мне не хотелось, чтобы он это

афишировал. Я змеиным шепотом, чтобы никто не обратил внимания, его спросила: „Учебник, по крайней мере, у вас есть?“. Он понял, что нас никто слышать не должен, поэтому ничего не ответил, но сделал мне выразительную гримасу. Тогда я потихоньку достала из сумочки свой учебник, открыла наугад какой-то текст и сказала: „Этот отрывок прочесть и перевести“. А затем опять же шепотом добавила: „Словарь в конце!“ Дальше говорю строго: „Затем ответите на вопросы по грамматике“. И потом опять шепотом: „Первая и вторая палатализация, страницы такие-то и такие-то“. Я понимала, что худо будет, если он пойдет отвечать последним, когда в аудитории, кроме нас, никого не останется. Но Довлатов не тянул до конца, так что были свидетели тому, что он текст перевел и рассказал про первую и вторую палатализации. Я не сомневалась, что он с заданием справится: умный студент на филфаке, располагающий учебником, словарем и двумя часами времени, может прочесть и перевести что угодно» (М. Бершадская // Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. СПб., 2009).

Зачет по критике он тоже сдал успешно. Без учебника, словаря и подсказок.

«О Господи! Какая честь! Какая незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!»

3 сентября 2009

Игорь Сухих

УРОКИ ЧТЕНИЯ

Был чей-то день рождения, не помню... Собрались писатели, художники, так называемая вторая культурная действительность. Хозяин в шутку предложил:

— Давайте объявим конкурс на лучшее... постановление.

Художник Енин* голосом знаменитого диктора Левитана произнес:

— Отмечая шестидесятилетний юбилей Советского государства, ленинский Центральный Комитет выносит постановление: «НЕЛЬЗЯ!..»

Слово взял поэт Антипов:

— Ленинский Центральный Комитет постановляет также: «За успехи в деле многократного награждения товарища Брежнева орденом Ленина — наградить орден Ленина орденом Ленина!»

Высказался и прозаик Машков:

— В целях дальнейшего усиления конспирации группом инакомыслящих постановляет...

Машков дождался полной тишины, оглядел собравшихся и хмуро закончил:

— Именовать журнал «Континент» журналом «КонтинГент»...

Кто-то рассмеялся. Я задумался.

Действительно, конспираторы мы неважные.

* Фамилии искажены до неузнаваемости. (Авт.)

Звонит приятель:

— У тебя есть... ну, этот... «Дед Архип и Ленка»? Достань. Можешь достать?

— Да зачем тебе? Ты что, Горького перечитываешь?

— Какой ты, ей-богу!.. Да «Архипелаг» мне нужен, «Архипелаг ГУЛАГ», по-нашему — «Архип»...

Ведь знаем, что телефонные разговоры прослушиваются. Ведь обыски были у знакомых. Кто-то работы лишился, а кто-то и сидит...

Вот уже третий год я читаю одну нелегалыщину. К обычной литературе начисто вкус потерял. Даже Фолкнера не перечитываю. Линда Сноупс, мулы, кукуруза... Замечательно, гениально, но все это так далеко...

Снабжает меня книгами, в основном, писатель Ефимов. То и дело звоню ему:

— Можно зайти? Долг хочу вернуть...

Наконец Ефимов рассердился:

— Мне тридцать человек ежедневно звонят, долги возвращают... Меня же из-за вас посадят как ростовщика... Придумайте что-нибудь более оригинальное...

В «Континенте» появляется мой рассказ. Об этом знают все. Да я и не скрываю. В борьбе тщеславия с осторожностью побеждает тщеславие.

Заглянул на книжный рынок. Хожу, присматриваюсь. Мелькнула глянцевая обложка «Континента». Так и есть, одиннадцатый номер. Мой. С моим бессмертным творением.

— Сколько? — интересуюсь.

Маклак, оглядываясь, шепчет:

— Тридцать...

Затем, нахально усмехнувшись, добавляет:

— А с автора — вдвойне!..

«Континент» в Ленинграде популярен необычайно. Любым свиданием, любым мероприятием, любой культурно-алкогольной идеей готов пренебречь достойный человек ради свежего номера. Хотя бы до утра, хотя бы на час, хотя бы вот здесь перелистать...

Вспоминается несколько занятных историй. И даже в каком-то смысле показательных.

«Континент» стал печатать записки Лосева. В одной из глав был упомянут редактор детского журнала Сахарнов, функционер и приспособленец. (В Ленинграде шутили: «Почти однофамилец, «НО» мешает...») В записках говорится, как редактор журнала наедине с Лосевым перевозносил Солженицына. Печатая, естественно, в своем журнале разных там Никольских и Козловых...

Как-то захожу в редакцию. Навстречу Сахарнов.

— Привет, — говорит, — есть разговор.

Заходим к нему, садимся.

— «Континент», где обо мне написано, читали?

— Нет, — солгал я.

— Читали, читали... Я же знаю... В коридоре Пожидаевой рассказывали...

Редактор вздохнул, снял трубку, положил на кучу гранок.

— Как вы думаете, может у нас что-то измениться?

— Где, в редакции?

— Да не в редакции, а в государстве.

— Вряд ли, — уныло сказал я.

Тут же опомнился и добавил с большим подъемом:

— Никогда.

— А я не исключаю, — задумчиво произнес Сахарнов, — не исключаю... Экономика гибнет, сельское хозяйство загнивает... Не исключаю, не исключаю... Я этот номер «Континента» буду хранить... Я у Лосева справку возьму...

— Какую справку?

— Что я восхищался Солженицыным. Вы полагаете, не даст мне Лосев такой справки? Даст. Он честный, непременно даст. И буду я по-прежнему редактировать журнал. А вы — короткими рецензиями перебиваться, — закончил Сахарнов.

Помню, меня его цинизм даже развеселил.

Был у меня знакомый юрист. В последние годы — социолог. Выгнали из коллегии адвокатов. Кого-то не того рвался защищать. Хороший человек, однако пьющий. Назовем его Григоровичем.

Взял у меня однажды Григорович номер «Континента».

— Домой, — спрашиваю, — едешь?

— Домой, прямым ходом, не беспокойся...

— Смотри, поосторожнее...

По дороге Григорович встретил знакомого. Заглянули в рюмочную — понравилось. Потом зашли в шашлычную. Потом на лавочке в сквере расположились...

Очнулся Григорович в вытрезвителе. Состояние — как будто проглотил ондатровую шапку. Портфель отсутствует. А в портфеле — номер «Континента»...

Слышит: «Григорович, на выход!»

Выходит из камеры. Небольшой зал. Портрет Дзержинского, естественно. За столом капитан

в форме. Что-то перелистывает. Батюшки, «Континент» перелистывает...

Григорович испугался. Стоит в одних трусах...

— Присаживайтесь, — говорит капитан.

Григорович повиновался. Сиденье было холодное...

— Давайте оформляться, Григорович. Получите одежду, документы... Шесть рублей с мелочью... Портфель... А журнальчик...

— Книга не моя, — перебил Григорович.

— Да ваша, ваша, — зашептал капитан, — из вашего портфеля...

— Провокация, — тихо выкрикнул обнаженный социолог.

— Слушайте, бросьте! — обиделся капитан. — Я же по-человечески говорю. Журнальчик дочитаю и отдам. Уж больно интересно. А главное — все правда, как есть... Все натурально изложено... В газете писали: «антисоветский листок...» Разве ж это листок? И бумага хорошая...

— Там нет плохой бумаги, — сказал Григорович, — откуда ей взяться? Зачем?

— Действительно, — поддакнул капитан, — действительно... Значит, можно оставить денька на три? Хотите, я вас так отпущу? Без штрафа, без ничего?

— Хочу, — уверенно произнес Григорович.

— А журнал верну, не беспокойтесь.

— Журнал не мой.

— Да как же не ваш?!

— Не мой. Моего друга...

— Так я же верну, послезавтра верну...

— Слово офицера?

— При чем тут — офицера, не офицера... Сказал, верну, значит, верну. И сынок мой интересуется. Ты, говорит, батя, конфискуй чего-нибудь поинтереснее... Солженицына там или еще чего... Короче, запиши мой телефон. А я твой запишу... Что, нет телефона? Можно поговорить с одним человеком. Я поговорю. И вообще, если будешь под этим делом и начнут тебя прихватывать, говори: «Везите к Лапину на улицу Чкалова!» А уж мы тут разберемся. Ну, до скорого...

Так они и дружат. Случай, конечно, не типичный. Но подлинный...

Дело было в шестидесятом году.

Жил в Ленинграде талантливый писатель Успенский. Не Глеб и не Лев, а Кирилл Владимирович. И жил в Ленинграде талантливый поэт Горбовский. Его как раз звали Глебом. Что, впрочем, несущественно...

Был тогда Горбовский мятежником, хулиганом и забулдыгой.

А Кирилл Владимирович — очернителем советской действительности. В прозе и устно. (Над столом его висел транспарант: «Осторожнее. В этом доме аукнется — в Большом доме откликнется!»)

Однажды Горбовский попросил у Кирилла Владимировича машинку. Отпечатать поэму с жизнеутверждающим названием «Морг».

Успенский машинку дал. Неделя проходит, другая. И тут Кирилла Владимировича арестовывают по семидесятой. И дают ему пять строгого в разгар либерализма.

Отсидел, вышел. Как-то встречает Горбовского:

— Глеб, я недавно освободился. Кое-что пишу. Верни машинку.

— Кирилл! — восклицает Горбовский. — Плюнь мне в рожу! Пропил я твою машинку! Все пропил! Детские счета пропил! Обои пропил! Ободрал и пропил, не веришь?!

— Верю, — сказал Успенский, — тогда отдай деньги. А то я в стесненных обстоятельствах.

— Кирилл! Ты мне веришь! Ты мне единственный веришь! Дай я тебя поцелую! Хочешь, на колени рухну?!

— Глеб, отдай деньги, — сказал Успенский.

— Отдам! Все отдам! Хочешь — возьми мои единственные брюки! Хочешь — последнюю рубашку! А главное — плюнь в меня!..

Прошло десять лет. Горбовский разбогател, обрюзг. Благоразумно ограничил свой талант до уровня явных литературных способностей. Стал, что называется, поэтом-текстовиком. Штатпует эстрадные песни.

Как-то раз Успенский позвонил ему и говорит:

— Глеб! Раньше ты был нищим. Сейчас ты богач. И к тому же не пьешь. У тебя полкуска авторских ежемесячно. Верни деньги за машинку. Хотя бы рублей сто.

— Верну, — хмуро сказал Горбовский.

Прошло еще два года. Терпению наступил конец. Успенский снял трубку и отчеканил:

— Глеб! У меня в архиве около двухсот твоих ранних стихотворений. Среди них есть весьма талантливые, дерзкие и, мягко говоря, аполитичные. Не привезешь деньги — я отправлю стихи в «Кон-

тинент». Уверяю тебя, их сразу же опубликуют. За последствия не отвечаю...

Через полчаса Глеб привез деньги. мрачно попрощался и уехал на какой-то юбилей.

Его талантливые стихи все еще не опубликованы. Ждут своего часа. Дождутся ли...

Сентябрь. Вена. Гостиница «Адмирал». На тумбочке моей стопка книг и журналов. (Первые дни, уходя, механически соображал, куда бы запрятать. Не дай бог, горничная увидит. Вот до чего сознание исковеркано.)

Есть и последний номер «Континента». Через неделю он поедет в Ленинград со знакомым иностранцем. В Ленинграде его очень ждут.

Сентябрь 1978 года

Вена

РЫЖИЙ

Поэты, как известно, любят одиночество. Еще больше любят поговорить на эту тему в хорошей компании. Полчища сплоченных анахоретов бродят из одной компании в другую...

Уфлянд любит одиночество без притворства. Я не помню другого человека, столь мало заинтересованного в окружающих. Он и в гости-то зовет своеобразно.

Звонит:

— Ты вечером свободен?

— Да. А что?

— Все равно должен явиться Охапкин (талантливый ленинградский поэт). Приходи и ты...

Мол, вечер испорчен, чего уж теперь...

А встречает радушно. И выпивки хватает (явление при нынешнем алкогольном размахе — уникальное). И на рынке успел побывать — малосольные огурцы, капуста... И все-таки чуткий услышит:

«С тобой, брат, хорошо, а одному лучше...»

Я об Уфлянде слышал давно. С пятьдесят восьмого года. И все, что слышал, казалось невероятным.

...Уфлянд (вес 52 кг) избил нескольких милиционеров...

...Уфлянд разрушил капитальную стену и вмонтировал туда холодильник...

...Дрессирует аквариумных рыб...
...Пошил собственными руками элегантный костюм...

...Работает в географическом музее... экспонатом...

...Выучился играть на клавесине...

...Экспонирует свои рисунки в Эрмитаже...

Ну и, конечно, цитировались его стихи.

Уфлянда можно читать по-разному. На разных уровнях. Во-первых, его стихи забавны. (Это для так называемого широкого читателя.) Написаны энергично и просто. И подтекст в них едва уловим:

...В целом люди прекрасны.

Одеты по моде.

Основная их масса

Живет на свободе...

Есть такое филологическое понятие — сказ. Это когда писатель создает лирического героя и от его имени высказывается. Так писал Зоценко (не всегда). Так пишет Уфлянд. Его лирический герой — простодушный усердный балбес, вполне довольный жизнью:

...Каждый Богу помогает,

Исполняя свой обряд.

Люди сена избегают,

Кони мяса не едят.

Гости пьют вино с закуской.

Тот под лавку загудел.

Тот — еврей. Тот, вроде, — русский.

(Каждый свой избрал удел...)

В сфере досужих интересов героя — политика, народное хозяйство:

...Неверностью итогов в каждой смете,
заведомо неправильными данными,
не бюрократы ль извели до смерти
товарищей Калинина и Жданова?..

Герой не чужд искусству:

...Что делать, если ты художник слабый?
Учиться в Лондоне, Берлине или Риме?
Что делать, если не хватает славы?
Жениться на известной балерине?..

Личная жизнь героя многогранна:

...Она меня за жадность презирает,
поэтому-то я с другой живу.
Когда моя жена белье стирает,
я повторяю, глядя на жену:
«Ты женщина. Ты любишь из-за денег.
Поэтому глаза твои темны.
Слова, которыми тебя заденешь,
еще людьми не изобретены...»

В общем, сказ, ирония, подвох... Изнанка пафоса... Знакомая традиция, великие учителя. Ломоносов, Достоевский, Минаев, Саша Черный, группа Обэриу... Мрачные весельчаки обэриуты долго ждали своих исследователей. Кажется, дождались (Мейлах, Эрль). Дождется и Уфлянд. Я не филолог, мне это трудно...

Повторяю, Уфлянд человек загадочный. Порою мне кажется, ему открыт доступ в иные миры. Недаром он так любит читать астрономические книги.

Все говорят — экстраверт, интроверт. Экстраверт — это значит — душа нараспашку. Интроверт — все пуговицы застегнуты. Но как часто убогие секреты рядятся в полиэтиленовые одежды молчаливой

сдержанности. А истинные тайны носят броню откровенности и простодушия...

Семейная драма Уфлянда тоже неординарна. Жена его, добрая милая Галя, попрекает мужа трудолюбием:

— Все пишет, пишет... Хоть бы напился!..

Мало кто замечает, что Уфлянд — рыжий. Почти такой же, как Бродский...

Может, вылепить его из парадоксов? Веселый мизантроп... Тщедушный богатырь... Не получается. Две краски в парадоксе. А в Уфлянде больше семи...

Помню, сию в «Костре». Вбегает ответственный секретарь — Кокорина:

— Вы считаете, это можно печатать?

— Вполне, — отвечаю.

Речь идет о «Жалобе людоеда». Молодой людоед разочарован в жизни. Пересматривает свои установки. Кается:

Отца и мать, я помню,
Съел в юные года,
И вот теперь я полный
И круглый сирота...

— Вы считаете, эту галиматью можно печатать?

— А что? Гуманное стихотворение... Против насилия...

Идем к Сахарнову (главный редактор). Сахарнов хохотал минут пять. Затем высказался:

— Печатать, конечно, нельзя.

— Почему? Вы же только что смеялись?

— Животным смехом... Чуждым животным смехом... Знаете что? Отпечатайте мне экземпляр на память...

Почувствовал я как-то раз искушение счесть Уфлянда неумным. Мы прогуливались возле его дома. Я все жаловался — не печатают.

— Я знаю, что нужно сделать, — вдруг произнес Уфлянд.

— Ну?

— Напиши тысячу замечательных рассказов. Хоть один да напечатают...

Вот тут я и подумал — может, он дурак? Что мне один рассказ! И только потом меня осенило. Разные у нас масштабы и акценты. Я думал о единице, Уфлянд говорил о тысяче...

Наконец-то появилась эта книжка *. Двадцатилетний труд легко умещается на ладони... И в стандартном почтовом конверте. Пошлю друзьям во Францию... Увидит ли ее сам автор? (Он живет в Ленинграде.)

В конце же, цитируя Уфлянда, хочу многозначительно и грустно спросить:

А чем ты думаешь заняться,
Когда настанут холода?..

* Первая и единственная в то время книга стихов Владимира Уфлянда: «Тексты 1955—77». Анн Арбор, «Ардис», 1978. (Ред.)

СОГЛЯДАТАЙ

Года три назад шел я по Ленинграду со знакомой барышней. Нес в руках тяжелый сверток. Рукопись Халифа «ЦДЛ» на фотобумаге.

(С автором мы тогда не были знакомы. Знал, что москвич. А следовательно — нахал. Фамилия нескромная. Имя тоже не без претензии. Но об этом позже...)

Захожу в телефонную будку — позвонить. Барышня ждет у галантерейной витрины. Вижу — к ней подходят двое. Один что-то говорит и даже слегка прикасается.

Я выскочил, размахнулся и ударил ближайшего свертком по голове.

Парень отлетел в сторону. Но и сверток лопнул. Белые страницы разлетелись по Кубинской улице.

Тут я, надо признаться, оробел. И так с государством отношения неважные. А здесь — милиция кругом... Ползаю, собираю листы.

Ловеласы несколько пришли в себя. Постояли, постояли... Да и начали мне помогать. Сознательными оказались...

Так книга Халифа выдержала испытание на прочность. Свидетельствую — драться ею можно!

ЦДЛ — это Центральный Дом литераторов в Москве. Набитая склоками, завистью, лестью и бесплодием писательская коммуналка.

Дом, из которого выселили его лучших обитателей.

Где неизменно «выигрывают серые».

Где десятилетиями не хоронят мертвецов...

Герой или, вернее, героиня этой книги — литература. Фабула — судьба отечественной литературы. Сюжет — ее капитуляция и гибель.

Отношение к современной русской литературе у Халифа крайне пессимистическое. Ее попросту не существует. Есть талантливые прозаики и стихотворцы. Есть талантливые критики и литературоведы. А живого литературного процесса нет. Есть другой процесс. Процесс истребления русской литературы, который успешно завершается.

Хочется привести такую незатейливую аллегорию.

Допустим, у вас есть мать. Допустим, она проживает с братом в Калифорнии. Неожиданно брат сообщает:

«Мать в тяжелом состоянии».

Вы ему телеграфируете:

«Что с ней?»

Брат отвечает:

«Осень у нас довольно прохладная...»

Далее следует талантливое и подробное изображение калифорнийской осени. О матери же — ни слова.

Вы снова телеграфируете:

«Что с матерью?!»

Получаете ответ:

«Транспорт у нас работает скверно...»

Далее следует живое, правдивое и критическое описание работы транспорта. О матери же — ни звука...

И так без конца. Ни звука о главном...

Халифу можно возражать. Можно говорить о неожиданно (для третьих эмигрантов) полноценной литературе русского зарубежья. Можно говорить о подводных течениях в нынешней советской литературе. Размахивать внушительным и ярким «Метрополем». Все это можно...

Но у Халифа есть точка зрения. И выражена она талантливо, горько, правдиво.

Книга набрана четырьмя шрифтами. Можно было ее набрать и двадцатью. Так многообразна и разнородна ее структура. «ЦДЛ» — это документы, лирические и философские отступления, хроника, анекдоты, бытовые зарисовки.

Не менее разнообразна и тональность книги. Здесь уживаются дидактика с иронией, ода с поношением, благодушная насмешка с язвительной колкостью, возвышенная лексика с... многоточием.

Юрий Мальцев («Вольная русская литература») справедливо указывает: «В своей экспрессивной метафорической прозе Халиф, несомненно, следует традиции таких поэтов, как Марина Цветаева и Осип Мандельштам».

Лично я расслышал здесь также и хитрыйговорок Марамзина. «...Мы уезжаем, а вы нам вдогонку глаза свои посылаете...»

Можно вспомнить и напевы Андрея Белого. И карнавал метафор Юрия Олеши.

Действительно, единица измерения прозы Халифа — метафора, то и дело возвышающаяся до афоризма. Цитировать — одно удовольствие.

«Этот, со стопроцентной потерей зрения, возомнил, что он — Гомер. Ему виднее...»

«...Спартак Куликов... Имя — восстание, фамилия — битва...»

«...Ударил кто-то бомбой в Мавзолей, но вождь остался жив...»

«...Дрейфус умер, но дело его живет...»

«...Всякую колыбель — даже революции — надо раскачивать...»

Поначалу меня раздражала нескромность Халифа. Или то, что я принимал за нескромность.

Автор говорит, например, о заветной книжной полке. О книгах — шедеврах двадцатого века:

«...Тут и „Доктор Живаго“ Пастернака. И „Архипелаг ГУЛАГ“ Солженицына... Да и эта — моя — туда встанет».

Неплохо сказано?!

Поначалу я от таких заявлений вздрагивал. Затем не то чтобы привык, а разобрался.

Не собою любитесь автор. И не себя так уверенно различает на мраморном пьедестале. Используя формулу Станиславского, Халиф не себя почитает в литературе. А литературу — в себе и других.

Этим чувством — преданностью литературе, верой в ее фантастическое могущество — определяется тональность книги.

Могу указать две-три неточности. Например, автор говорит:

«Солженицын — единственный в мире изгнанник — нобелевский лауреат». То есть как? А Бунин? А Томас Манн?

Или:

«Будь Твардовский жив, вряд ли бы он остался редактором „Нового мира“».

Твардовского лишили журнала еще до смерти. Это, говорят, и убило его.

Неточностей мало. А те, что есть, как говорится, — не принципиальные.

И еще.

Я благодарен Халифу за несколько страниц о родном и незабываемом Ленинграде. За «Сайгон» и за «Ольстер». За «Маяк» и за «Жердь». За Вахтина и Шварцмана. За таинственного Лисунова и умницу Эрля. За нечасто протрезвляющегося Славонова и даже за Мишу Юппа.

Книгу Халифа не только читать — удовольствие, но и в руках держать приятно — она замечательно оформлена.

ВЕРХОМ НА УЛИТКЕ

...А все, что друг мой сотворил, —
От Бога, не от беса.
Он крупного помола был,
Крутого был замеса!..

В. Высоцкий
«Посвящается Шемякину»

Лично я воспринимаю успех Михаила Шемякина на Западе как персональное оскорбление. Его успех оглушителен до зависти, мести и полного твоего неверия в себя.

Молодой, знаменитый, богатый, талантливый, умный, красивый и честный... Можно такое пережить без конвульсий? Не думаю...

Я не специалист и не буду оценивать живопись Шемякина (тем более что ее уже оценили. Небольшая картина продана за 90 000 долларов). Меня, откровенно говоря, волнует не живопись Шемякина, а его судьба.

Вот — пунктиром — несколько штрихов биографии.

Отец — полковник кавалерии. Мать — актриса. Отец, ревнивый кавказец, берет жену на фронт. Хрупкая служительница Мельпомены участвует в конных атаках и рубится шашкой.

Где-то над обломками Кенигсберга восходит звезда Михаила Шемякина.

Затем (отец военный) — немецкая школа в здании бывшего гестапо.

С 57 года — Ленинград. Отвратительная коммуналка. (Отец и мать, по-видимому, развелись.)

Средняя художественная школа. Увлечение старыми мастерами. Пренебрежение соцреализмом.

Группу подростков выгоняют из СХШ. Они работают и учатся самостоятельно.

Примерно в эти годы Шемякин изобретает злополучный «метафизический синтетизм» (стоивший ему двух психбольниц и принесший мировую славу).

Термин, конечно, мудреный. Скажем так:

Основы жизни и основы культуры — совпадают. Художник движется к основам, не выявляя, а преодолевая свою неповторимую индивидуальность. (Шемякину хорошо. Сначала выявил, да еще как, а затем уж и преодолеть не жалко.) Личное (Я) — временно и тщетно. Вечно — общее (жизнь, природа, культура). И разумеется — Бог как выражение самого общего начала...

С облегчением вздохнем и продолжим.

Шемякин работает грузчиком. Оформляет книги. Якшается с подозрительными иностранцами (а какой иностранец не подозрителен?!). Дерзит КГБ.

Короче, привычный советский детектив, без выстрелов, но с жертвами. Затем эмиграция, слава, назойливые корреспонденты...

В Ленинграде я Шемякина знал мало. А теперь знаю еще меньше. Хотя вспоминается и наше знакомство, и какие-то разговоры...

Сейчас мне хочется думать, что было какое-то особое впечатление. Было ли? Шемякин тогда не очень

выделялся. В Ленинграде тысячи претенциозных молодых художников. И кудри неаполитанские у многих, и брюки с заплатами из отцовских портфелей.

Вспоминается Шемякин дерзким и самоуверенным.

- Скоро уеду, — говорит он.
- Вы же не еврей (тогда это было сложно).
- У меня друзья на Западе.
- Влиятельные?
- Помпон обещал содействие.
- Кто это — Помпон?
- Помпиду.

Действительно, тогдашний президент Франции, эстет и сноб, любил искусства Шемякина.

Так он и уехал. Рисовал картины, богател, меценатствовал, пил, достиг величия...

Я часто думаю, откуда такие берутся?! Эти голодные недоучившиеся российские мальчики?! С невероятными философскими реформами?! С гениальными картинами?! С романами вроде «Москва—Петушки»?!

Кто их создает?

Я знаю — кто. Советская власть!

Проклинаем ее, и не зря. А ведь создает же!

Как это происходит? На голове у каждого художника лежит металлическая плита соцреализма. И давит многотонной тяжестью. Художник тоже напрягается, мужает. Кто-то, сломленный, падает. Кто-то превращается в атланта.

Вот так. На голове у западного человека — сомбреро. А у нашего — плита...

Бродского давили, давили, и что вышло?

С Шемякиным такая же история...

Вы спросите, а при чем тут улитка? Улитка при том:

Можно всю жизнь, подобно Илье Глазунову, копировать русские иконы. И всю жизнь проваляться в материалистической луже. А можно — по-другому. Оседлать, как Шемякин, метафизическую улитку и в безумном, ошеломляющем рывке пробить небесный купол...

И что тогда? А тогда — разговор с Небожителем.

И тут мы, непосвященные, умолкаем...

ПОСЛЕДНИЙ ЧУДАК

История одной переписки

...Я писал в газете об этом человеке:

«...О нем говорили — муж Веры Пановой. Или — отчим Бори Вахтина. Еще говорили — чудак, оригинал. Начинаящим авторам деньги одалживает. Советскую власть открыто ругает...

Году в шестьдесят четвертом мне довелось присутствовать на встрече читателей с ленинградским (ныне покойным) прозаиком Давидом Яковлевичем Даром, который славился своими дерзкими политическими высказываниями, а в официальной советской литературе занимал — соответственно — довольно скромное, периферийное место. Встреча состоялась в относительно либеральную пору так называемой «кукурузной оттепели», и потому вопрос одного из молодых читателей, обращенный к Давиду Дару, никому не показался диким.

Молодой читатель спросил:

— Как случилось, что вы уцелели в тридцатые годы? Каким образом избежали сталинских репрессий? По какой причине вас миновали ссылка и тюрьма, не говоря о более страшной участи?..

Вопрос был задан с такой интонацией, которая предполагала убежденность в том, что избежать сталинских репрессий мог только заведомый двурушник, лицемер, соглашатель и поставщик казенной соцреалистической макулатуры...

Самое удивительное, что Дар начал оправдываться. Смущенно пожимая плечами и растерянно пытая своей неизменной трубкой, Дар говорил:

— Так уж, знаете ли, получилось... Сам удивляюсь... Подлостей я вроде бы не делал... Может, разгадка в том, что я был беспартийным, видных постов и должностей не занимал... Да и писал-то в основном для детей... Кажется, меня просто не заметили...

Честному старому писателю было неловко за свою относительно благополучную творческую молодость, хотя и ему доводилось быть объектом проработок, хранить в столе неприемлемые для издательств рукописи, вступаться за невинно пострадавших и долгие годы ходить в «идейно чуждых» авторах. Не случайно Давида Дара удостоили своей привязанности и дружбы Анна Ахматова и Михаил Зощенко, которые тоже, кстати сказать, избежали ссылок и тюрем...

Много чего говорили о нем.

А он был (и слава Богу — есть) — настоящий писатель. И больше никто.

Этого достаточно.

Сегодня мы публикуем...»

И так далее...

Речь шла о поразительном, невыносимом, странном человеке.

У него была смешная и даже вызывающая фамилия. Вернее, псевдоним — ДАР. История псевдонима такова. Человека звали Давид Яковлевич Ривкин. Инициалы — Д.Я.Р. Сначала он так и подписывался — ДЯР. Затем все стали называть его Дар. И это правильно.

Была даже такая эпиграмма:

Хорошо быть Даром,
Получая даром
Каждый год по новой
Книжечке Пановой!..

Короче, напечатали мы его прозу. Я написал Давиду Яковлевичу любезнейшее письмо.

Получаю ответ:

«Дорогой Сережа! Был очень рад вашему дружескому письму. Но:

1. Впервые за 70 лет своей жизни я прочитал, что я многоуважаемый! И что все, написанное мною, — „превосходно“.

Этот гнилой аппендикс вашей ленинградской благовоспитанности — отмечаю.

2. Не следовало корить меня за грамматические ошибки. Ибо, во-первых, — это результат законного старческого маразма. Во-вторых, я с юных лет борюсь против высшего (а также — среднего) образования. В результате чего лучшие молодые писатели (мои друзья и воспитанники) были выгнаны из средней школы, не достигнув шестого класса. Скажу вам честно — Фолкнера я люблю не только за его абсолютную грамотность.

3. Читающая публика в России знала меня не только как мужа Веры Пановой и отчима Бори Вахтина. Даже Володя Марамзин узнал меня только благодаря книжке моих рассказов лет за десять до того, как подружился с Борей Вахтиным. И в первом издании „Краткой литературной энциклопедии“ ничего не сообщается ни о моих

женах, ни о моих пасынках. Ничего не сообщалось о моих родственных связях ни в газете „Известия“, разоблачившей меня как космополита, ни в Постановлении Ленинградского обкома партии о моих сказках. Речь повсюду шла только обо мне как о писателе (ненастоящем, в этом они с вами разошлись). А в журнале „Вопросы литературы“ вы могли бы прочитать, что Корней Иванович Чуковский в 66-м году называл меня „замечательным писателем“, не зная того, что я — отчим Бори Вахтина и муж Веры Пановой. И это я пишу все не для того, чтобы подтвердить его оценку, так как сам не считаю себя „настоящим писателем“. Иначе я не назвал бы свою последнюю книжку „Исповедью безответственного ЧИТАТЕЛЯ“...

4. Что касается вашей морды...»

Тут я должен на минуту прерваться. Морда упомянута не случайно. История такова.

Года четыре назад я жил в Ленинграде. Сочинял рассказы и повести. Опубликовал в Израиле «Невидимую книгу».

В этой «Невидимой книге» содержались беглые характеристики моих ленинградских друзей. Молодых писателей и художников. Доброжелательные иронические зарисовки. Нечто вроде дружеских шаржей...

Дар реагировал бурно. (Он уже жил в Израиле.) Наводнил Ленинград призывами избить меня.

Его призывы неожиданно реализовались. Я был дважды избит в отделении милиции. Правда, за другие грехи.

Теперь, живя в Америке, я наконец спросил Давида Яковлевича:

— В чем дело?

Дар ответил:

«...Эта международная кампания была инспирирована вашим панибратским отношением к вашим же несчастным современникам. Я обиделся за Володю Губина, Юру Шигашова, Холоденко, Алексеева и других весьма талантливых, на мой взгляд, писателей, которые в отличие от вас не обладают могучей, исполинской фигурой, атомной энергией, вашей армяно-еврейской жизнеспособностью. Подтрунивать можно над победителями — Львом Толстым, Владимиром Набоковым, Андреем Битовым, Сергеем Довлатовым, но подтрунивать над спившимися, припадочными, несчастными, всеми оплеванными, честными, мужественными ЖЕРТВАМИ литературы, на мой взгляд, непорядочно. Ни Губин, ни Шигашов, ни Холоденко не бежали с поля боя, как, допустим, — Воскобойников или Горбовский, и поэтому они заслуживают уважения. А вы о Вере Федоровне пишете с уважением, и даже обо мне, а о Володе Губине — без должного уважения. За это следует бить морду. Любому...»

Я пытался что-то объяснить Давиду Яковлевичу. Писал о своих тяжелых комплексах. О разбитом сердце. О том, что я вовсе не победитель...

В ответ раздавалось:

«...Вы пишете, что я еще лет двадцать назад зарегистрировал вас в своем безумном сознании

как победителя, силача и красавца. А хуже брани для меня не существует...

Ну конечно же вы правы. Если бы вы были такого роста, как я, и так же некрасивы, и так же слабосильны, вы бы поняли, как омерзительны все без исключения высокие, сильные и привлекательные мужчины...

Но не будем об этом. Этого вам не понять.

И еще одно. Вы один из тех весьма немногочисленных ваших литературных сверстников, которые никогда не нуждались ни в моей моральной поддержке, ни в моей вере в ваш талант. Вы прекрасно обходились без моего участия в вашей литературной судьбе. А я всю жизнь больше всего на свете боялся и сейчас боюсь показаться назойливым и навязывать себя. Поэтому я старался защитить тех, кто нуждался в моей защите, — от всех других, и в том числе — от вас...»

Я пытался успокоить Давида Яковлевича. Звал его в Америку. Но старый чудак продолжал ворчать:

«...Вы спрашиваете, не могу ли я приехать в Нью-Йорк. Не могу по двум причинам. 1. Не на что. 2. Не знаю, что делать в Америке без денег, без языка и без эрекции. Все эти три ингредиента (деньги, английский язык и эрекция) взаимозаменяемы, но если не иметь ни одного из них, то, по всей видимости, надо сидеть дома.

Впрочем, как-нибудь пришлю вам три-четыре странички из своих мемуаров, которые мог бы написать, но никогда писать не буду, так как считаю этот жанр подобным некрофилии. Может быть, на эти странички клюнет какой-нибудь университет

и пригласит меня. Ведь люди моего поколения уходят, а я благодаря Вере Федоровне общался со всеми подонками советской литературы, о которых никто, кроме меня, уже и вспоминать не может. Галина Серебрякова, Леонид Соболев, Александр Дымшиц, Всеволод Кочетов, Николай Грибачев — все они бывали у нас в доме. Одна такая ехидна, как молодой Воеводин, вместе со своим кретином-папашей заслуживает внимания всех тех старых дураков, которые занимаются славистикой в американских университетах...»

Доставалось от него и нашим современникам:

«Володя Марамзин обиделся на то, что я в силу своего легкомыслия дал разрешение журналу „22“ опубликовать свое частное письмо редактору. В этом письме я довольно безответственно осудил все эмигрантские журналы. Я написал, что все русские журналы за рубежом отражают не подлинную жизнь какой-то части русской интеллигенции, а ее вторичную, искусственную, потустороннюю жизнь.

Когда я читаю журналы, у меня создается впечатление, что вся нынешняя эмиграция (за исключением Бродского) не имеет собственной жизни, что вся она расположилась под дверью СССР и там, под запертой дверью, сыто хрюкает, скрежещет зубами, пророчествует, спорит, иронизирует по поводу чужой жизни, той, которая осталась в прошлом, той, которая проходит без их участия.

При этом (что было наиболее глупо с моей стороны) я так охарактеризовал русские журналы:

«ожесточенные политики из „Континента“, инженерно-мещанское самодовольство „Времени и мы“, радостно-дошкольный инфантилизм „Эха“, стариковская благопристойность „Граней“, старые дураки из „Нового журнала“».

Результат: Марамзин, Максимов и Тарасова разорвали со мной отношения. Эткинд и Синявский обиделись, почему я не упомянул их как исключения.

Самое грустное, что я все это заслужил. Тем более что все упомянутые журналы я читаю с большим интересом, а „Эхо“ просто люблю...»

Впрочем, Дар и к себе относился без чрезмерного уважения:

«Небольшой отрывок из моей последней книги я пошлю в „Часть речи“ и нисколько не обижусь, если вы мой отрывок швырнете в корзину. Вообще имейте в виду, что вы как редактор газеты и член редколлегии альманаха можете отвергнуть любой мой материал, и я на вас не обижусь. Но выбрать мне трудно, потому что любой кусок даже мне самому кажется вздорным и весьма сомнительным с точки зрения логики и здравого смысла, тем более — вырванный из контекста всей книги. К тому же и жанр моей книги совершенно неопределим: это не рассказы, не эссе, не статьи, не заметки, не письма, во всяком случае — не беллетристика.

Я уверен, что при жизни издать эту книгу мне не удастся. Сомневаюсь и в том, что она будет издана после моей смерти, так как, во-первых, моя

манера письма очень мало кому нравится, а во-вторых, у меня нет физических сил подготовить эту маленькую рукопись, да и просто некому ее оставить...»

В сущности он был необычайно деликатен:

«...На письмо я вам не ответил по той причине, что не хочу навязывать совершенно лишнюю переписку со мною, хотя мне переписка с вами очень нужна и интересна. И не потому, что вы печатаете меня в своей газете и хорошо отнеслись к моей последней книжке, а потому, что я совершенно одинокий семидесятилетний старик и ужасно нуждаюсь в доброжелательном, снисходительном и человеческом ко мне отношении.

И последнее, вы не можете себе представить, как много для меня значит то, что вам нравится (если это правда), как и что я пишу...»

И вот он умер. Вздорный и нелепый, добрый и заносчивый, умный и прекрасный человек.

Может быть, последний российский чудак.

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ «ТРЕТЬЯ ВОЛНА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЭМИГРАЦИИ (1981)»

Две литературы или одна?

Тема нашей беседы — две литературы или одна. Мне кажется, вопрос сформулирован недостаточно четко. Речь должна идти не о литературе, а о литературном процессе, о различных формах, уровнях и тенденциях литературного процесса. Литература — это то, о чем пишут в школьных учебниках. Мы же, собравшиеся здесь журналисты, беллетристы, критики, издатели, независимо от разряда дарования, являемся участниками литературного процесса. В этом процессе сосуществуют различные тенденции, их не одна и не две, как указано в программе, а, мне кажется, целых три, как в сказке. То есть, официальная верноподданническая тенденция в Советском Союзе, либерально-демократическая там же, и зарубежная часть литературного процесса плюс самиздат, поскольку самиздат тяготеет к литературе в изгнании. Сейчас эти тенденции кажутся нам антагонистическими, взаимоисключающими.

Очень полезно было бы взглянуть на сегодняшнюю ситуацию через двести лет. Это сделать невозможно, но можно поступить иначе, можно поступить наоборот. Можно взглянуть отсюда на литературу столетней давности, и тогда сразу возникнут впечатляющие аналогии. Оказывается, тройст-

венный процесс существовал всегда. Имела место охранительная тенденция, например Лесков, либерально-обличительная — Щедрин, самиздатовская — Чернышевский и литература в изгнании — Герцен. Издалека литература прошлого кажется ровной и спокойной, и в ней как будто царит относительный порядок, однако, при ближайшем рассмотрении выясняется, что и ту литературу сотрясали невероятные катаклизмы. Пушкин добивался издания «Бориса Годунова», если не ошибаюсь, шесть лет, «Скупого рыцаря» — десять лет, а «Медный всадник» так и не был опубликован при жизни автора, его, кажется, дописал и издал Жуковский. Белинский и Добролюбов не видели своих книг при жизни, «Горе от ума» вышло через несколько десятилетий после гибели автора, «Философические письма» Чаадаева, по-моему, изданы в 1907 году. Помимо катаклизмов имели место также вопиющие несуразности. Неутомимый обличитель режима Салтыков-Щедрин был, как известно, губернатором. Это такая же дикость, как если бы «Чонкина» написал, например, Андропов. Главный самиздатовский автор — Грибоедов, был дипломатом вроде Добрынина. Революционер Герцен, призывавший к цареубийству, жил в Лондоне на доходы от собственного русского поместья. Вообразите, например, что сейчас в Москве переиздали «Звездный билет» Аксенова и уплатили Аксенову законный большой гонорар. Вот какие вещи происходили. Кто сейчас задумывается об этих вещах, об этих несуразностях и катаклизмах? Время сглаживает политические разногласия, заглушает социальные мотивы и, в конечном счете, наводит по-

рядок. Взаимоисключающие тенденции образуют единый поток. Белинского и Гоголя мы сейчас легко упоминаем через запятую, а ведь разногласия между ними достигали такой степени, что за одно лишь цитирование письма Белинского — Гоголю Достоевского чуть не расстреляли...

Время перемещает какие-то акценты, ретуширует контуры, отодвигает на задний план минутные исторические реалии. Достоевский написал «Бесы» как идеологический памфлет, а сейчас мы читаем «Бесы» как изумительный роман. Дело Нечаева забыто, оно интересует специалистов, историков, а фигура Степана Трофимовича Верховенского, например, преисполнена жизни. Герцен создавал «Былое и думы» как политические мемуары, отображая многообразные социальные коллизии и прибегая к тончайшей идеологической нюансировке, мы же читаем «Былое и думы» как великолепную прозу. Если перечитать через двести лет солженицынского «Теленка», мне кажется, никого уже не будет интересовать личность Тевекеляна или подробности взаимоотношений Литфонда с Оргкомитетом ЦК, останется великолепная, замечательная проза. Через двести лет «Иванькиада» останется как замечательная трагикомедия, а Куперштока, скажем, не будет, и он перестанет кого бы то ни было интересовать. Сто лет назад было все: были правоверные, были либералы, был самиздат, были диссиденты. Особняком, скажем, возвышался Лев Толстой с нравственными и духовными поисками, сейчас эту территорию занимает, допустим, Битов или покойный Трифонов. Я говорю только лишь о пропорциях. Многие из нас восхи-

щаются деревенской прозой Белова, Распутина, Лихоносова. И эта тенденция жила сто лет назад. Можно назвать имена Слепцова, Решетникова, Успенского. Все было, и всякое бывало. Мне кажется, что любой из присутствующих сможет обнаружить в истории литературы своего двойника. Вот так я хотел бы ответить на заданный вопрос. Литературный процесс разнороден, литература же едина. Так было раньше, и так, мне кажется, будет всегда.

Эмигрантская пресса

Я бы хотел заинтересовать вас одним из удивительных парадоксов нашей культурной жизни. Самая большая по объему газета в мире на русском языке выходит не в Москве, не в Ленинграде, не в волжских степях, а на углу 35-й стрит и 8-й авеню в Нью-Йорке. Эта газета — «Новый американец», вот она. В ней 48 страниц так называемого таблоидного размера, она выходит каждый вторник, существует четырнадцать месяцев.

Три года назад в Америку прилетел ленинградский журналист Борис Меттер, быстро и трезво оценил свои незавидные перспективы. Несколько месяцев он вяло топтался у подножия социальной лестницы, в буквальном и переносном смысле, а именно — был лифтером. Работа его не удовлетворяла, и он назойливо заговаривал с пассажирами в лифте, делился планами создания новой еженедельной газеты. Кому-то идея нравилась, кому-то представлялась нерентабельной, и даже вздорной, но важно другое. Собеседники Бориса Меттера не удивлялись, всем казалось нормальным, что лифтер

собирается издавать газету. Вот что такое Америка! У Меттера появились единомышленники, такие же беспросветные неудачники, как и он. Мы получили банковскую ссуду, двенадцать тысяч долларов, что явилось предметом немыслимых слухов и домыслов. Говорили даже, что нас субсидирует Комитет Государственной Безопасности. Узнав об этом, я позвонил Меттеру. Меттер страшно обрадовался. Он сказал: «Это замечательно, что нас считают агентами КГБ. Это укрепляет нашу финансовую репутацию. Пусть думают, что мы богачи...»

Газета стала реальностью. Ощущение чуда сменилось повседневными заботами. Мы не имели делового опыта, ломились в открытые двери, изобретали бесчисленные велосипеды, безбожно коверкали английский язык. Президент корпорации Меттер начинал деловые телефонные разговоры следующим образом: «This is speak I — Борис Меттер». Мы углубились в джунгли американского бизнеса, одновременно вырабатывалась нравственная позиция газеты. Мы провозгласили: «„Новый американец“ является демократической свободной трибуной. Он выражает различные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Выводы читатель делает сам».

Честно говоря, мы испытывали неудовлетворенность русской прессой в Америке. Казалось бы, свобода мнений, великое завоевание демократии. Да здравствует свобода мнений! С легкой оговоркой: для тех, чье мнение я разделяю. А как быть с теми, чье мнение я не разделяю? Как это неприлично — уважать чужое мнение! Как это глупо — дать высказаться оппоненту. Как это соблазни-

тельно — быть единственным конфидентом истины. Оказалось, выбрать демократию недостаточно, как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию. Демократии нужно учиться. Дома нам внушали единственно правильное учение. Дома был Обком, который все знал, а тут? Читатель — не малолетний ребенок, он достоин самой разносторонней информации, он достаточно умен, чтобы принимать самостоятельные решения. Мы уехали, чтобы реализовать свои человеческие права: право на творчество, право на собственное мнение, право на материальный достаток, и в том числе священное право быть неправым, т. е. право на заблуждение, на ошибку. Так давайте жить, как принято в цивилизованном обществе...

Порой нас спрашивают, какого направления придерживается наша газета, с кем она борется, кого ненавидит, против кого выступает. Так вот, мы не против, мы — за. Мы за правду, за свободу, за человеческое достоинство, за мир и культуру, за духовные и нравственные поиски, за нашу многострадальную Родину, за приютившую нас Америку, за мужество и за талант.

Мы называем себя еврейской газетой. Честно говоря, я был против такой формулировки, она мне кажется лишней. Я считаю газету еврейской лишь настолько, насколько можно считать еврейской третью эмиграцию. Мы говорим и пишем на русском языке, наше духовное отечество — великая русская культура, и потому мы — русская газета. Мы живем в Америке, благодарны этой стране, чтим ее законы и, если понадобится, будем воевать за американскую демократию, и потому

мы — американская газета. Мы — третья эмиграция, и читает нас третья эмиграция, нам близки ее проблемы, понятны ее настроения, доступны ее интересы, и потому мы — еврейская газета.

Мы освещали израильские события, публиковали материалы на темы еврейской истории, отдавали должное таланту Башевица Зингера и Маламуда. Началось брожение в общественных кругах. Нас обвиняли в пренебрежении к России, в еврейском шовинизме, в корыстных попытках добиться расположения богатых еврейских организаций. Старый друг позвонил мне из Франции. Он сказал: «Говорят, ты записался в правоверные евреи и даже сделал обрезание». Я ответил: «Воля, я не стал правоверным евреем и вовсе не делал обрезания. Я могу это доказать. Я не могу протянуть тебе свое доказательство через океан, но я готов предъявить его в Нью-Йорке твоему доверенному лицу...» Параллельно с еврейским шовинизмом нас обвиняли в юдофобии, называли антисемитами, погромщиками, черносотенцами, упоминая при этом Геббельса и Риббентропа.

Дома нас учили: советское — значит отличное, наши луга самые заливные, наши морозы самые трескучие, наша колбаса самая отдельная. Сейчас мы в Америке, так давайте же чуточку расслабимся, давайте при слове «еврей» не размахивать кулаками, чтобы не получилось: еврейское — значит отличное!..

В нашей газете были помещены дискуссионные материалы о Солженицыне. Боже, какой начался шум! Нас обвиняли в пособничестве КГБ, в прокоммунистических настроениях, чуть ли не в терро-

ризме... Исключительный художественный талант писателя неоспорим, но идеи Солженицына, его духовные, нравственные и политические установки вызывают разноречивую критику. Голос Солженицына звучит на весь мир, а значит, голоса его оппонентов тоже должны быть услышаны. Этому принципу следует наша газета. Всякое большое явление обрывает суетной и мелочной накипью. Великого человека зачастую окружает невероятно посредственная клика. То и дело раздаются грозные вопли бездумных и угодливых клеветников Солженицына: кто осмелится замахнуться на пророка, его особа священна, его идеи вне критики!.. Десятилетиями они молились Ленину, а теперь готовы крушить его монументы, ими самими воздвигнутые. Мы устроены по-другому. Мы восхищаемся Солженицыным и поэтому будем критически осмысливать его работы. Слишком ответственна функция политического реформатора, слишком дорого нам будущее России...

Больше года выходит наша газета, и больше года я слышу: чего вы смеетесь, над чем потешаетесь? В Афганистане трагедия, академик Сахаров томится в Горьком, и вообще мир на грани катастрофы. Да, мир на грани катастрофы, и привели его к этой грани именно угрюмые люди. Угрюмые люди бесчинствуют в Афганистане, угрюмые люди хватают заложников, и гордость России, академика Сахарова, мучают тоже угрюмые люди. И потому мы будем смеяться над русофобами и антисемитами, над воинствующими атеистами и религиозными кликушами, над мягкотелыми голубями и твердолобыми ястребами, а главное, замечьте, над собой. И хочется думать, пока

мы способны шутить, мы останемся великим народом. Я говорю как о русских, так и о евреях.

Говорят, в эмиграции происходят бесконечные ссоры. Все согласны, что это безумие. Все хотят мира и дружбы. Но одни понимают мир, как торжество единственного самого верного учения, а другие, как сосуществование и противоборство множества идей. «Новый американец», повторяю, является трибуной для их свободного, корректного, доброжелательного выражения.

А теперь я хотел бы раскрыть один маленький секрет. Все, что я сейчас говорил, опубликовано. Опубликовано в газете «Новый американец», все до единого слова. Мое выступление составлено из 26 цитат с использованием восемнадцати номеров газеты, что свидетельствует о нашем довольно-таки последовательном отношении к затронутым вопросам. Спасибо за внимание.

Как издаваться на Западе?

Разрешите начать выступление с фокуса. Или с загадки. Догадайтесь, что у меня в кулаке?

Можете не стараться. Все равно не угадаете.

В кулаке находятся мои произведения. Все мое литературное наследие. Более двух тысяч страниц неопубликованных рукописей.

Рукописи сняты на микро пленку. Вывезены из Ленинграда чудесной француженкой. (Фамилию ее просили не оглашать.)

Француженка занималась не только моими делами. Ей многим обязаны десятки русских литераторов и журналистов.

Из Союза французенка увозила рукописи, письма, документы. Туда везла книги, газеты, журналы. Порой — десятки экземпляров. Как-то раз в ленинградском аэропорту она не могла подняться с дивана...

Так проникает на Запад русская литература. Я думаю, этим можно гордиться. Наши сочинения приравниваются к оружию, к взрывчатке...

Я хочу вручить эту пленку Илье Левину для его музея. Не потому, что мои рукописи так уж ценны. Вовсе нет. Я считаю эту пленку крошечным обелиском нашего безумного времени. Памятником нашего унижения, нашей жизнестойкости и нашего триумфа...

Я начал писать рассказы в шестидесятом году. В самый разгар хрущевской оттепели. Многие люди печатались тогда в советских журналах. Издавали прогрессивные книжки. Это было модно.

Я мечтал опубликоваться в журнале «Юность». Или в «Новом мире». Или, на худой конец, — в «Авроре». Короче, я мечтал опубликоваться где угодно.

Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов.

Это было странно.

Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы.

Мне казалось, я пишу историю человеческого сердца. И все. Я писал о страданиях молодого вояхровца, которого хорошо знал. Об уголовном лагере. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках и литературной богеме...

Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал — почему? И наконец понял.

Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует. Власти притворяются, что этой жизни нет.

При этом явно антисоветские книги издавались громадными тиражами. Например, произведения Бубеннова, Кочетова или Софронова. Это были книги, восстанавливающие читателей против советского режима. Вызывающие отвращение к нему.

Тем не менее их печатали. А меня — нет.

Наконец я совершенно разочаровался в этих попытках. Я уже не стремился печататься. Знал, что это бесполезно.

К этому времени хрущевская оттепель миновала. Начались заморозки. На месте отцветающей прогрессивной литературы расцвел самиздат.

Этот выразительный, четкий неологизм полон глубокого значения. Пишем сами. Издаемся сами. «Эрика» берет четыре копии...

Самиздат распространился повсеместно. Если вам говорили: «Дай что-нибудь почитать», значит, речь шла о самиздате. Попросить официальную книгу считалось неприличным.

Масштабы увлечения самиздатом достигали масштабов российского пьянства.

Теперь мы писали без определенной цели, движимые иррациональными силами. Видимо, так и должно быть.

Я не буду говорить о том, для кого мы пишем. Этот вопрос заслуживает многотомного научного

исследования. Лично я писал главным образом для моей бывшей жены. Пытаясь доказать ей, какого сокровища она лишилась.

В некоторых западных изданиях прочел о себе: «Его произведения распространялись в самиздате...»

Я не совсем понимаю, что это значит. В огромном количестве тиражировались произведения Солженицына. Материалы процесса над Синявским и Даниэлем. Письма Жореса Медведева и Эрнста Генри. И многие другие знаменитые тексты.

Вряд ли кто-то специально перепечатывал мои рассказы или рассказы моих друзей. Закончив рассказ, я сам перепечатывал его в нескольких экземплярах. И потом раздавал знакомым. А они — своим знакомым, если те проявляли интерес.

Это и есть самиздат в наиболее точном значении. Сам пишешь. Сам даешь знакомым. А порой — и сам читаешь в гордом одиночестве.

В семидесятые годы начали эмигрировать мои друзья. Я тогда и не думал об эмиграции. Хотя, может быть, идея развивалась в подсознании. В те годы подсознание стало необычайно людным местом. На этой арене разворачивались все главные события человеческой биографии.

Короче, я не собирался уезжать. Я чего-то ждал. Мне в общем-то известно, чего я ждал. Я ждал, когда меня издадут в «Ардисе»...

Вот как это произошло. В издательство попала рукопись моей «Невидимой книги». Друзья сообщили, что Карл Проффер намерен ее опубликовать. На двух языках.

Летом 76-го года я узнал, что Проффер в Ленинграде. Выяснилось, что я могу его повидать.

Я страшно волновался. Ведь это был мой первый издатель. Да еще — американец. После 16 лет ожидания.

Я готовился. Я репетировал. Я прямо-таки слышал его низкий доброжелательный голос:

«Ах вот ты какой! Ну, прямо вылитый Хемингуэй!..»

Наконец встреча состоялась. На диване сидел утомленный мужчина в приличном костюме. Он с заметным усилием приподнял веки. Затем вновь опустил их.

— Вы издаете мою книгу? — спросил я.

Проффер кивнул. Точнее, слегка качнулся в мою сторону. И снова замер, обессилев полностью.

— Когда она выйдет? — спросил я.

— Не знаю, — сказал он.

— От чего это зависит? — спросил я.

Ответ прозвучал туманно, но компетентно:

— В России так много неопубликованных книг...

Я не отставал. Тогда он наклонился ко мне и еле слышно произнес:

— Я очень много пью. В России меня без конца заставляют пить. Я не могу больше разговаривать. Еще три фразы, и я упаду на пол...

Потом я виделся с Карлом еще раз. Говорил с ним. И многое понял. Вернее, многое узнал.

Узнал, например, что в Америке даже знаменитые писатели — бедствуют. Что они ради заработка вынуждены служить или, как минимум, — преподавать. Что русских авторов переводят мало. Что американцы предпочитают собственную ли-

тературу — европейской. (Не в пример европейским и тем более — русским читателям.) Я узнал, что финансовое положение Бродского несколько идеализировано ленинградской молвой. Что издательства завалены рукописями, доходы от которых ничтожны. Что многие русские книги попросту убыточны. Особенно — стихи, что является некоторым утешением для прозаика. И так далее. И тому подобное...

После этого я собирал информацию два года. Мне хотелось знать всю правду. Покончить с иллюзиями. Действовать разумно, трезво и практично.

Я не торопился уезжать. Хотя жизненные обстоятельства мои резко ухудшились. Я ждал, когда меня издадут в «Ардисе». Ведь пока я живу в Союзе, у меня больше шансов для этого.

И все-таки пришлось уехать. Некоторые происшествия сделали мой отъезд безотлагательным...

С февраля 79-го года мы живем в Нью-Йорке. Этот город — серьезное испытание воли, характера, душевной прочности. Здесь у тебя нет ощущения гостя, приезжего, чужестранца. И нет ощущения дома, пристанища, жилья. Есть ощущение сумасшедшего корабля, набитого миллионами пассажиров. Где все равны...

Если хочешь здесь жить, надо что-то полюбить в Америке.

Мне в этом смысле повезло. Я полюбил Америку раньше, чем ее увидел.

С детства я любил американскую прозу. За демократизм и отсутствие сословных барьеров. За великую силу недосказанности. За юмор. За

сочувствие ходу жизни в целом. За внятные и достижимые нравственные ориентиры.

Еще раньше я полюбил американские трофейные фильмы. За ощущение тождества усилий и результата. За идею превосходящего меньшинства. За гениальное однообразие четко вылепленных моделей.

Затем я полюбил джаз шестидесятых годов, сдержанный и надломленный. Полюбил его за непосредственность. За убедительное, чуждое ханжеству возрождение соборных переживаний. За прозорливость к шансам гадкого утенка. За глубокий, выстрадаанный оптимизм...

У меня появились знакомые американцы. Я любил независимость их поведения, элегантную небрежность манер. Я любил их пренебрежение к условным нормам. Прямоту и однозначность в разговоре. Мне нравились даже их узковатые пиджаки...

Наконец я приехал. Пытаюсь разобраться в этой жизни. Что-то делать, предпринимать...

Увы, мои прогнозы оказались верными. Вот что я уяснил:

Положение русского литератора на Западе можно считать двойственным. Обстоятельства его жизни необычайно выигрышны. И наряду с этим — весьма плачевны.

Начнем с плохого. Рядового автора литература прокормить не может. Писатели работают сторожами, официантами, лифтерами, водителями такси.

В Америке серьезной литературой занимаются те, кто испытывает в этом настоящую духовную потребность.

Литература также не является здесь престижной областью. Действительно, в Москве или Ленинграде писатель считается необычайно уважаемой фигурой. Удостоверение Союза писателей распахивает любые двери. Дружбой с писателями щеголяют маршалы и киноактеры, хоккеисты и звезды эстрады, работники ЦК и гении валютных операций.

Здесь рядовой писатель совершенно не выделяется. Сферы бизнеса, медицины, инженерии, юриспруденции — куда престижнее. Литератора здесь ценит довольно узкий круг читателей.

Дома можно, разговаривая с незнакомой барышней, выдавать себя за приятеля Евтушенко. Здесь такой прием малоэффективен.

Дома нас страшно угнетала идеологическая конъюнктура. В Америке тоже есть конъюнктура — рынка, спроса. Это тоже очень неприятно.

И все-таки я предпочитаю здешнюю конъюнктуру. Ведь понятия «талантливая книга» — «рентабельная книга» хоть изредка, но совпадают. Разумеется, не всегда. И даже не часто. Скажем, в трех из десяти.

Понятия же «талантливая книга» — «идеологически выдержанная книга» не совпадают никогда. Нигде. Ни при каких обстоятельствах.

Здешняя конъюнктура оставляет писателю шанс, надежду, иллюзию. Идеологическая конъюнктура — это трибунал. Это верная гибель. И никаких иллюзий!..

Мы поселились в Америке. Приготовились к борьбе за существование. Все мои друзья твердили:

— Если надо, буду мыть посуду в ресторане. Жизнь заставит — пойду таскать мешки. Поступлю на курсы ювелиров или автомехаников. На худой конец сяду за баранку...

Я сам все это говорил. И что же? Многие ли из нас уплотнили собой ряды американского пролетариата?

Лично я таких не знаю. У кого-то грант. Кому-то жена умная попалась. Кто-то преподает. Кто-то стал государственным паразитом.

К тому же, напоминая, я говорю о средних писателях. Не об Аксенове, Войновиче или Синявском. Я говорю о тех, кто не имел признания в Союзе. Да и здесь пока что его лишен.

(Немного обидно быть делегатом и теоретиком посредственности. Однако должен же кто-то исследовать этот вопрос.)

Все мои знакомые живы, все что-то пишут. Подрабатывают на радио «Либерти». В одной нашей редакции что-то получают 16 человек. По соседству находится русское телевидение. У них еще человек двадцать. И так далее.

Вернемся к литературе.

«Ардис» выпустил мою «Невидимую книгу» по-русски и по-английски. Рецензии были хорошие. Но мало.

Самая большая рецензия появилась в газете «Миннесота Дэйли». Мне говорили, что в этом штате преобладают олени. И все же я низко кланяюсь штату Миннесота...

«Ардис» выпускает на обоих языках русские книги. Бродский советовал мне подумать об американских журналах. Он же рекомендовал меня заме-

чательной переводчице Энн Фридмен. Еще раньше я познакомился с Катей О'Коннор из Бостона.

Эня перевела мой рассказ, который затем был опубликован в журнале «Ньюйоркер». Далее «Ньюйоркер» приобрел еще три моих рассказа. Один должен появиться в течение ближайших недель. Остальные — позже.

Мне объяснили, что это большой успех. В Союзе о «Ньюйоркере» пишут: «Флагман буржуазной журналистики...» Здесь его тоже ругают. Знакомые американцы говорят:

— Ты печатаешься в самом ужасном журнале. В нем печатается Джон Апдайк...

Я не могу в этом разобраться. Я все еще не читаю по-английски. Джон Апдайк в переводах мне очень нравится...

Курт Воннегут тоже ругал «Ньюйоркер». Говорил, что посылал им множество рассказов. Жаловался, что его не печатают. Хемингуэя и Фолкнера тоже не печатали в этом журнале. Они говорят, Фолкнер писал чересчур хорошо для них. А Хемингуэй чересчур плохо.

Мне известно, что я не Воннегут. И тем более — не Фолкнер. Мне хотелось выяснить, чем же я им так понравился. Мне объяснили:

— Большинство русских авторов любит поучать читателя, воспитывать его. Причем иногда в довольно резкой, требовательной форме. Черты непрошеного мессианства раздражают западную аудиторию. Здесь этого не любят. И не покупают...

Видно, мне повезло. Воспитывать людей я не осмеливаюсь. Меня и четырнадцатилетняя дочка-то не слушается...

Действительно, русская литература зачастую узурпирует функции Церкви и государства. И рассчитывает на соответствующее отношение.

Я не хочу сказать, что это плохо. Это замечательно. Для этого есть исторические причины. Церковь в России была довольно слабой и не пользовалась уважением. Литература же пользовалась огромным, непомерным, может быть — излишним авторитетом.

Отсюда — категорическая российская установка на гениальность, шедевр и величие духа. Писать хуже Достоевского считается верхом неприличия. Но Достоевский — один. Толстой — один. А людей с претензиями — тысячи.

Мне кажется, надо временно забыть о Достоевском. Заняться литературной техникой. Подумать о композиции. Поучиться лаконизму...

Кроме того, в сочинениях русских авторов преобладают мрачноватые гаммы. Это естественно. Мы прибыли из довольно серьезного государства. Однако смешное там попадалось не реже, чем кошмарное.

Трудно забыть, как сержант Гавриленко орал на меня:

— Я *сгнию* тебя, падла! Вот увидишь, *сгнию*!

Грустить мне или смеяться, вспоминая об этом. Хотелось бы не путать дурное настроение с моральным величием.

Уныние лишь издалека напоминает порядочность...

Недавно я прочел такую фразу у Марамзина:
«Запад интересуется нами, пока мы русские...»

Это соображение мне попадалось неоднократно. В самых разнообразных контекстах. У самых разных авторов.

То есть мировая литература есть совокупность национальных литератур. В самых ярких, блистательных образцах. Чем национальнее автор, тем интернациональнее сфера его признания...

Это соображение вовсе не кажется мне бесспорным. Хотя я и не решаюсь его опровергать. Теория — не мое дело.

Я только хочу привести несколько фамилий.

Иосиф Бродский добился мирового признания. Его американская репутация очень высока.

При этом Бродского двадцать лет упрекают в космополитизме. Говоря, что его стихи напоминают переводы с английского. Об этом писали Рафальский, Гуль и другие, более умные критики. И у Бродского есть материал для подобных оценок. В его поэзии сравнительно мало национальных черт. Хотя ленинградские реалии в его стихах точны и ощутимы.

Мне кажется, Бродский успешно выволакивает русскую словесность из провинциального болота.

А раньше этим занимался Набоков. Который еще менее национален, чем Бродский.

Два слова о Набокове. Я не хочу сказать, что ему противопоказана русская традиция. Просто она живет в его творчестве наряду с другими. Лужин, например, типично русский характер. Гумберт принадлежит к средневропейскому типу. Мартын Эдельвейс — вненационален, хоть и уезжает бороться с коммунистами.

Очевидно, самое русское в Набокове — литературный язык. (Пока он его не сменил.)

Вспомните Алданова, Ремизова, Зайцева, Куприна. Это были необычайно русские писатели. При-

том очень высокого класса. А мирового признания добился один Набоков.

Я думаю, понятие «мировая литература» определяется не только уровнем. Не только качеством. Но и присутствием загадочного общечеловеческого фермента.

Я думаю, национальное и общечеловеческое в творчестве живет параллельно. И то и другое сосуществует на грани конфликта. Может быть, противоречит одно другому. И при этом в каком-то смысле дополняет...

Рядом с Чеховым даже Толстой кажется провинциалом. Разумеется, гениальным провинциалом. Даже «Крейцерова соната» — провинциальный шедевр.

А теперь вспомним Чехова. Например, его любимую тему: раскачивание маятника супружеской жизни от идиллии к драме. Вроде бы что тут особенного. Для Толстого это мелко. Достоевский не стал бы писать о такой чепухе.

А Чехов сделал на этом мировое имя. Благодаря общечеловеческому ферменту.

Уж каким национальным писателем был Лесков! А кто его читает на Западе?!

Чрезвычайно знаменателен феномен Солженицына, который добился абсолютного мирового признания.

И что же? Запад рассматривает его в первую очередь как грандиозную личность. Как выдающуюся общественную фигуру. Как мужественного, стойкого, бескомпромиссного человека. Как историка. Как публициста. Как религиозного деятеля. И менее всего как художника.

Мы же, русские, ценим в Солженицыне именно гениального писателя. Выдающегося мастера словесности. Реформатора нашего синтаксиса. Отдавая, разумеется, должное его политическим и гражданским заслугам. По-моему, тут есть над чем задуматься...

Мне кажется, у литераторов третьей волны проявляется еще одна не совсем разумная установка. Мы охвачены стремлением любой ценой дезавуировать тоталитарный режим. Рассказать о нем всю правду. Не упустить мельчайших подробностей. Затронуть все государственные и житейские сферы.

Стремление, конечно, похвальное. И черная краска тут совершенно уместна. И все-таки задача кажется мне ложной для писателя. Особенно если превращается хоть и в благородную, но самоцель.

Об ужасах советской действительности расскажут публицисты. Историки. Социологи.

Задача художника выше и одновременно — скромнее. И задача эта остается неизменной. Подлинный художник глубоко, безбоязненно и непредвзято воссоздает историю человеческого сердца...

Я думаю, что у литераторов третьей волны хорошие перспективы на Западе. Нашли дорогу к читателям — Аксенов, Максимов, Синявский, Войнович. Большой интерес вызывает творчество Соколова, Лимонова, Алешковского. Критика высоко оценила Мамлеева и Наврозова.

Ищет встречи с западной аудиторией благородное детище Григория Поляка — «Часть речи»...

Наверное, я пропустил десяток фамилий. Например, Ерофеева, автора шедевра «Москва—Петушки»... Конечно же — Игоря Ефимова, Марамзина, Некрасова.

Мы избавились от кроважадной внешней цензуры. Преодолеваем цензуру внутреннюю, еще более разрушительную и опасную. Забываем об унижительной системе аллюзий. Жалких своих ухищрениях в границах дозволенной правды.

Банально выражаясь, мы обрели творческую свободу. Следующий этап — новые пути, оковы, вериги литературного мастерства. Как говорил Зощенко — литература продолжается.

Я, например, стал тем, кем был и раньше. Просто многие этого не знали. А именно, русским журналистом и литератором. Увы, далеко не первым. И к счастью, далеко не последним. Спасибо за внимание.

Будущее русской литературы в эмиграции

У меня сложилось такое впечатление в ходе заседания, что вопрос о будущем русской литературы как будто уже решен в положительном смысле. Все же я хочу коротко сказать, причем довольно банальные вещи, что-то повторить из того, что уже говорилось, поскольку наше первое заседание о том, две литературы или одна, — это разговор о будущем литературы. И я сознательно хочу произнести несколько банальных вещей, ибо, вообще говоря, я считаю, что нравственный путь во многом — это путь к прописным истинам, которые есть смысл иногда повторить, чтобы привыкнуть.

Я еще раз хочу сказать, что, оглядываясь на прошлое, мы исследуем таким образом будущее и убеждаемся, что время сглаживает какие-то политические нюансы и территориально-гражданские

признаки литературы становятся менее существенны, чем кажутся в настоящий момент, что будущее литературного процесса определит мера таланта людей, участвующих в этом процессе... Существует разница между Фетом и Огаревым (если кто-то перечитывал когда-нибудь Огарева)? Конечно, существует, но не в плане мировоззрения, а в уровне дарования. Как известно, Фет был крепостником, но писал значительно лучше. Скажем, Аполлон Григорьев был почти что люмпеном, а Тютчев был камергером, и сейчас это не имеет никакого значения. Внуки будут оценивать наши достижения по эстетической шкале, останется единственное мерило, как в производстве — качество, будь то качество пластическое, духовное, качество юмора или качество интеллекта. Мне хочется почему-то привести такой микроскопический, но характерный пример. Я недавно прочел книжку Лотмана о «Евгении Онегине». Мы часто цитируем из Пушкина строчки, скажем, такую строку: «Из Страсбурга пирог нетленный...» Выяснилось с помощью Лотмана, что пирог вовсе не пирог, а гусиный паштет, что нетленный он не потому, что остался в памяти, как совершенство кулинарии, а потому, что он консервированный. Действительно, в ту пору изобрели процесс консервирования, и нетленный пирог — это консервы гусиные. Сейчас все эти реалии забыты и интересуют, может быть, одного Лотмана, а стихи остались, потому что они хорошо написаны, вне всех подробностей...

Проза Солженицына выше прозы Георгия Маркова именно качеством, даже неловко произносить, настолько это ясно. Теперь вот еще разговор

о том... кажется, Владимир Николаевич Войнович говорил, что в эмиграции не может родиться большое дарование... (Я не говорил. — *Войнович.*) Нет? Значит, кто-то другой говорил из уважаемых людей... Что талант может усовершенствоваться и заявить о себе в эмиграции, но родиться не может. Мне не кажется это бесспорным, потому что рождение таланта во многом, если не во всем, это такой непредсказуемый, иррациональный момент и абсолютно внелогичный. Скажем, появление таких замечательных писателей, как Аксенов, Войнович и Гладилин, было естественным и мотивировалось какими-то историческими обстоятельствами, оттепелью, например, а, скажем, появление Солженицына было не только неестественно, но даже противоестественно, если вспомнить, что он, капитан артиллерии, потом заключенный, потом раковый больной в захолустье, потом рязанский учитель, и внезапно вот такое огромное, несвоевременное дарование. Солженицын свой талант выращивал в заключении, в больнице, долгие годы, потом написал 4000 гениальных страниц, а Ерофеев двадцать лет пьянствовал, потом написал 65 страниц замечательной прозы «Москва—Петушки» и, говорят, сейчас опять пьянствует. И тот и другой являются замечательными писателями, хотя по-разному сложилась их жизнь и образ этой жизни...

Гениальный писатель может родиться в эмиграции, а может и не родиться. Тут я хочу повторить почему-то, может, даже некстати, простую и очень важную вещь, которую на этот раз уже точно произнес Войнович. Он сказал, что если есть один великий писатель в литературе — значит, это вели-

кая литература. Я это понимаю так, что явление великого таланта обеспечено какими-то... клетками всего народа, всей нации, так же как явление злодейства титанического, как это было в Германии, да и у нас тоже, в какой-то степени, обеспечивается биохимией всей нации, но это мы уже в сторону ушли...

Значит, повторяю, мерилом будет качество, это надежный вполне, и главное — единственный критерий. Я вынужден признать, что кто-то из нас может стать первой жертвой этого критерия, но от этого он не становится менее надежным, а главное — менее единственным, если так можно говорить по-русски... Мы уже говорили: две литературы или одна — это, по сути дела, разговор о будущем литературы, эта литература едина, в ней есть элементы, которые присущи любой здоровой культуре, т. е. существуют — реалистическая проза, авангард, наличествует сатира, нигилизм и т. д. В заключение я хочу сказать, что будущее литературы лежит, мне кажется, в сфере осознания литературой собственных прав и собственных возможностей. Из методической разработки относительно того, как жить или «что делать», она превратится или превращается, как мы видим по литературе прошлого, в захватывающее, прекрасное явление самой жизни, и из наставления, скажем, по добыче золота она превращается в сокровище, и уже неважно, трудом добыто это сокровище или получено в наследство.

Спасибо за внимание.

ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

*После конференции в Лос-Анджелесе**

...А значит, никто никого не обидел, и литература продолжается...

М. Зощенко

Мной овладело беспокойство

На конференции я оказался случайно. Меня пригласил юморист Эмиль Дрейцер. Показательно, что сам Дрейцер участником конференции не был. А я по его настоянию был. То есть имела место неизбежная в русской литературе доля абсурда.

Сначала ехать не хотелось. Я вообще передвигаюсь неохотно. Летаю — тем более... Потом начались загадочные разговоры...

— Ты едешь в Калифорнию? Не едешь? Зря... Ожидается грандиозный скандал. Возможно, будут жертвы...

— Скандал? — говорю.

— Конечно! Янов выступает против Солженицына. Цветков против Максимова. Лимонов против мировой цивилизации...

В общем, закипели страсти. В обычном русском духе. Русский человек обыкновенный гвоздь вколачивает, и то с надрывом...

* В мае 1981 г. в Лос-Анджелесе проходила международная конференция «Русская литература в эмиграции: Третья волна».

Кого-то пригласили. Кого-то не пригласили. Кто-то изъявил согласие. Кто-то наотрез отказался. Кто-то сначала безумно хотел, а затем передумал. И наоборот, кто-то сперва решительно отказался, а потом безумно захотел...

Все шло нормально. Поговаривали, что конференция инспирирована Москвой. Или наоборот — Пентагоном. Как водится...

Я решил — поеду. Из чистого снобизма. Посмотреть на живого Лимонова.

Загадочный пассажир, или Уроки английского

В аэропорту имени Кеннеди я заметил Перельмана. Перельман — редактор нашего лучшего журнала «Время и мы».

Перельман — человек загадочный. И журнал у него загадочный. Сами посудите. Проза ужасная. Стихи чудовищные. Литературная критика отсутствует вообще. А журнал все-таки лучший. Загадка...

Я спросил Перельмана:

— Как у вас с языком?

— Неплохо, — отчеканил Перельман и развернул американскую газету.

А я сел читать журнал «Время и мы»...

В Лос-Анджелесе нас поджидал молодой человек. Предложил сесть в машину.

Сели, поехали. Сначала ехали молча. Я молчал потому, что не знаю языка. Молчал и завидовал Перельману. А Перельман между тем затеял с юношей интеллектуальную беседу.

Перельман небрежно спрашивал:

— Лос-Анджелес из э биг сити?

— Ес, сэр, — находчиво реагировал молодой человек.

Во дает! — завидовал я Перельману.

Когда молчание становилось неловким, Перельман задавал очередной вопрос:

— Калифорния из э биг стейт?

— Ес, сэр, — не терялся юноша.

Я удивлялся компетентности Перельмана и его безупречному оксфордскому выговору.

Так мы ехали до самого отеля. Юноша затормозил, вылез из машины, распахнул дверцу.

Перед расставанием ему был задан наиболее дискуссионный вопрос:

— Америка из э биг кантри? — спросил Перельман.

— Ес, сэр, — ответил юноша.

Затем окинул Перельмана тяжелым взглядом и уехал.

Дело Синявского

Всем участникам конференции раздали симпатичные программки. В них был указан порядок мероприятий, сообщались адреса и телефоны. Все дни я что-то записывал на полях.

И вот теперь перелистываю эти желтоватые странички...

Андрей Синявский меня почти разочаровал. Я приготовился увидеть человека нервного, язвительного, амбициозного. Синявский оказался на удивление добродушным и приветливым. Похожим на деревенского мужичка. Неловким и даже смешным.

На кафедре он заметно преображается. Говорит уверенно и спокойно. Видимо, потому, что у него мысли... Ему хорошо...

Говорят, его жена большая стерва.

В Париже рассказывают такой анекдот. Синявская покупает метлу в хозяйственной лавке. Продавец спрашивает:

— Вам завернуть или сразу полетите?..

Кажется, анекдот придумала сама Марья Васильевна. Алешковский клянется, что не он. А больше некому...

Короче, она мне понравилась. Разумеется, у нее есть что-то мужское в характере. Есть заметная готовность к отпору. Есть саркастическое остроумие.

Без этого в эмиграции не проживешь — загрызут.

Все ждали, что Андрей Донатович будет критиковать Максимова. Ожидания не подтвердились. Доклад Синявского затрагивал лишь принципиальные вопросы.

Хорошо сказал поэт Дмитрий Бобышев:

— Я жил в Ленинграде и печатался на Западе. И меня не трогали. Всем это казалось странным и непонятным. Но я-то знал, в чем дело. Знал, почему меня не трогают. Потому что за меня когда-то отсидели Даниэль и Синявский...

Дезертир Лимонов

Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем.

Мне кажется, это его личное дело.

Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третировал Лимонова.

Употребляя, например, такие сардонические формулировки:

«...Господин, который не желает быть русским писателем...»

Так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому!

Вспоминается такой исторический случай. Приближался день рождения Сталина. Если не ошибаюсь, семидесятилетний юбилей. Были приглашены наиболее видные советские граждане. Писатели, ученые, артисты. В том числе — и академик Капица.

И вот дерзкий академик Капица сказал одному близкому человеку:

— Я к Сталину не пойду!

Близкий человек оказался подлецом. Дерзость Капицы получила огласку. Возмутительную фразу процитировали Сталину. Все были уверены, что Капица приговорен.

А Сталин подумал, подумал и говорит:

— Да и черт с ним!..

И даже не расстреляли академика Капицу.

Так ведь это Сталин! Может быть, и нам быть чуточку терпимее?

Как будто «русский писатель» — высочайшее моральное достижение. А человек, пренебрегающий этим званием, — сатана и монстр.

В СССР около двух тысяч русских писателей. Есть среди них отчаянные проходимцы. Все они между третьей и четвертой рюмкой любят повторять:

— Я — русский писатель!

Грешным делом, и мне случалось выкрикивать нечто подобное. Между тринадцатой и четырнадцатой...

Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело.

И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается.

Бабель, например, какой писатель? Допустим, еврейский. Поскольку был евреем из Одессы.

Но Вениамин Каверин тоже еврей. Правда, из Харькова*. И Даниил Гранин — еврей. И мерзавец Чаковский еврей...

Допустим, в рассказах Бабея фигурируют евреи. Но в рассказах Купера фигурируют индейцы. В рассказах Уэллса — марсиане. В рассказах Сетона-Томпсона — орлы, лисицы и бараны... Разве Уэллс — марсианский писатель?

Лимонов, конечно, русский писатель. Плохой или хороший — это уже другой вопрос. Хочет или не хочет Лимонов быть русским — малосущественно. И рассердились на Лимонова зря.

Я думаю, это проявление советских инстинктов. Покидаешь Россию — значит, изменник. Не стоит так горячиться...

Лимонов — талантливый человек, современный русский нигилист. Эдичка Лимонова — прямой базаровский отпрыск. Порождение бескрылого, хамского, удушающего материализма.

Нечто подобное было как в России, так и на Западе. Был Арцыбашев. Был Генри Миллер. Был

* Каверин родом из Пскова. Наверняка Довлатов знал это. Но не желал в одной фразе употреблять дважды букву «П»: «Правда, из Пскова». (Ред.)

Луи Фердинанд Селин. Кажется, еще жив великий Уильям Берроуз...

Лимонов не превзошел Генри Миллера. (А кто превзошел?)

Удивительно, что с особым жаром критиковал Лимонова — Алешковский. Оба изображают жизнь в довольно мрачных тонах. Оба не гнушаются самыми красочными выражениями. Оба — талантливые представители «черного» жанра.

В общем, налицо конфликт ужасного с еще более чудовищным...

Лимонова на конференции ругали все. А между тем роман его читают. Видимо, талант — большое дело. Потому что редко встречается. Моральная устойчивость встречается значительно чаще. Вызывая интерес главным образом у родни...

Старик Коржавин нас заметил

До начала конференции меня раз сто предупреждали:

— Главное — не обижайте Коржавина!

— Почему я должен его обижать?! Я люблю стихи Коржавина, ценю его публицистику. Мне импонирует его прямота...

— Коржавин — человек очаровательный. Но он человек резкий. Наверное, Коржавин сам вас обидит.

— Почему же именно меня?

— Потому что Коржавин всех обижает. Вы не исключение.

— Зачем же вы меня предупреждаете? Вы его предупредите...

— Если Коржавин вас обидит, не реагируйте. Потому что Коржавин — ранимый.

— Позвольте, но я тоже ранимый. И Лимонов ранимый. И Алешковский. Все писатели ранимые!

— Коржавин — особенно! Так что не реагируйте...

Выступление Коржавина продолжалось шесть минут. В первой же фразе Коржавин обидел трехсот участников заседания. Трехсот американских славистов.

Он сказал:

— Вообще-то я пишу не для славистов. Я пишу для нормальных людей...

Затем он произнес несколько колкостей в адрес Цветкова, Лимонова и Синявского.

Затем обидел целый город Ленинград, сказав:

— Бобышев — талантливый поэт, хоть и ленинградец...

Нам* тоже досталось. Коржавин произнес следующее:

— Была в старину такая газета — «Копейка». Однажды ее редактора Пастухова спросили: «Какого направления придерживается ваша газета?» Пастухов ответил: «Кормимся, батюшка, кормимся...»

Действительно, была такая история. И рассказал ее Коржавин с подвохом. То есть наша газета, обуреваемая корыстью, преследует исключительно материальные цели... Вот что он хотел сказать.

Хорошо, Войнович заступился. Войнович сказал:

— Пусть Нёма извинится. Пусть извинится как следует. А то я знаю Нёму. Нёма извиняет-

* Газете «Новый американец», которую редактировал С. Довлатов. (Ред.)

ся так: «Ты, конечно, извини. Но все же ты — говно!»

Коржавин минуту безмолвствовал. Затем нахмурился и выговорил:

— Пусть Довлатов меня извинит. Хоть он меня и разочаровал...

В окопах «Континента», или Малая земля Виктора Некрасова

Гражданская биография Виктора Некрасова — парадоксальна. Вурдалак Иосиф Сталин наградил его премией. Сумасброд Никита Хрущев выгонял из партии. Заурядный Брежнев выдворил из СССР.

Чем либеральнее вождь, тем Некрасову больше доставалось. Виктор Платонович часто и с юмором об этом рассказывает.

Многие считают Некрасова легкомысленным. В юности он якобы не знал про сталинские лагеря. Не догадывался о судьбе Мандельштама и Цветаевой.

Это, конечно, зря. Тем не менее вспомните, как обстояли дела с информацией. Да еще в провинциальном Киеве.

И вообще, не слишком ли мы требовательны? Вот бы часть нашей требовательности применить к себе!

Некрасов воевал. Некрасов писал замечательные книги. В расцвете славы и благополучия — прозрел.

После этого действовал с исключительным мужеством. Всегда поддерживал Солженицына. Помогал огромному количеству людей. И это — буду-

чи классиком советской литературы. Будучи вознесен, обласкан и увенчан...

На конференции он был представлен в двух лицах. (Слово «ипостаси» — ненавижу!) Как независимый писатель и как заместитель Максимова.

Литературная судьба Некрасова тоже примечательна. Сначала он писал романы. Хорошие и прогрессивные книги. На уровне Каверина и Тендрякова.

Потом написал знаменитые «легкомысленные» очерки. С этого все и началось.

Мне очень нравится его теперешняя проза. Мне кажется, эти легкомысленные записки более органичны для Некрасова. Неотделимы от его бесконечно привлекательной личности...

В Лос-Анджелесе Некрасов представлял редакцию «Континента», формально он является заместителем главного редактора.

В действительности же Некрасов — свадебный генерал. Фигура несколько декоративная. Наподобие английской королевы.

Возможно, он и читает рукописи. Рекомендует лучшие в печать. Красиво представляет на совещаниях. Мирит главного редактора с обиженными писателями. (Виктор Платонович так себя и называет «облезлый голубь мира».)

Практическую работу выполняют Горбаневская и Бетаки. Распоряжения отдает Максимов.

А вот отдуваться пришлось Некрасову.

«Континент» — журнал влиятельный и солидный. Более того, самый влиятельный русский журнал. Огромные его заслуги — бесспорны. Претензии к нему — естественны. Предъявлять их можно и нужно. Но — по адресу.

Некрасов приехал, чтобы увидаться с друзьями. Обнять того же Нёму Коржавина. Немного выпить с Алешковским. Короче, прибыл с мирными намерениями. К скандалу не готовился.

И тут восстало молодежное крыло — Цветков, Лимонов, Боков.

— Почему «Континент» искажил стихи Цветкова?

— Почему Горбаневская обругала Лимонова?

— Почему Максимов дает интервью в собственном журнале?..

И Некрасов, мне кажется, растерялся. К этому, повторяю, он не был готов...

Я не говорю, что журнал Максимова — вне критики. Что претензии Цветкова, Лимонова, Бокова — несостоятельны. Я сам имею претензии к Максиму. Все правильно... Я только хочу спросить — при чем здесь Некрасов?

Да еще — втроем на одного. Да еще — такие молодые, напористые, бравые ребята!

Если можно так выразиться — это было неспортивно.

Максимов отсутствовал. Человек он сильный, резкий и находчивый. Сиди он за круглым столом, не знаю, чем бы кончилась дискуссия. Как минимум, большим скандалом...

После этого заседания Некрасов ходил грустный. И мне было чуточку стыдно за всех нас...

Кумиры нашей юности

После конференции я давал Гладилину интервью для «Либерти». Гладилин спросил;

— Что вас особенно поразило?

Я ответил:

— Встреча с Аксеновым и Гладилиным.

Я не льстил и не притворялся.

Аксенов и Гладилин были кумирами нашей юности. Их герои были нашими сверстниками. Я сам был немного Виктором Подгурским. С тенденцией к звездным маршрутам...

Мы и жить-то старались похожим образом. Ездили в Таллинн, увлекались джазом...

Аксенов и Гладилин были нашими личными писателями. Такое ощущение не повторяется.

Потом были другие кумиры. Синявский... Наконец, Солженицын... Но это уже касалось взрослых людей. Синявский был недосягаем. Солженицын — тем более.

Аксенов и Гладилин были нашими писателями. Сейчас они переменились. Гладилина увлекают сатирические фантасмагории. Аксенов написал выдающийся роман по законам джазовой игры...

Юность неповторима... Я с удовольствием произношу эту банальность.

У теперешней молодежи вроде бы нет кумиров. Даже не знаю, хорошо это или плохо...

Нам было хорошо.

Трусой против ветра

Александр Янов — давний оппонент Солженицына. Солженицын раза два обронил в адрес Янова что-то пренебрежительное. Янов напечатал в американской прессе десятки критических материалов относительно Солженицына.

Янов производит чрезвычайно благоприятное впечатление. Он — учтив, элегантен, имеет слабость к белым пиджакам. У него детские ресницы и спортивная фигура.

По утрам он бегает трусцой. Даже — находясь в командировке. Даже — наутро после банкета в ресторане «Моне»...

Янов прочитал свой доклад. Он проделал это с воодушевлением. В состоянии громадного душевного подъема.

Солженицын отсутствовал.

Мне трудно дать оценку соображениям Янова. Для этого я недостаточно компетентен. Тем более воздержусь от критики идей Солженицына.

Я хотел бы поделиться не мыслями, а ощущениями. Вернее — единственным ощущением. А именно:

Реальная дискуссия между Солженицыным и Яновым — невозможна. Поскольку они говорят на разных языках.

Дело не в том, что Солженицын — русский патриот, христианин, консерватор, изгнанник.

И не в том, что Янов — добровольно эмигрировавший еврей, агностик, либерал.

Пропасть между ними значительно шире.

Представьте себе такой диалог. Некто утверждает:

— Мне кажется, Чехов выше Довлатова!

А в ответ раздается:

— Неправда. Довлатов значительно выше. Его рост — шесть футов и четыре дюйма...

Оба правы. Хотя и говорят на разных языках...

Ромашка, например, для крестьянина — сорняк, а для влюбленного — талмуд.

Солженицын — гениальный художник, взывающий к человеческому сердцу.

Янов — блестящий ученый, апеллирующий к здравому смыслу...

Попытайтесь вообразить Солженицына, бегущего трусцой. Да еще — после банкета в ресторане «Моне»...

Священный беспорядок

В ходе конференции определились три дискуссионных поля:

1. «Континент» и другие печатные органы.
2. Бывшие члены Союза писателей и несоюзная молодежь.
3. Новаторы и архаисты.

В каждом отдельном случае царил невероятная путаница.

Комментировать журнальную междоусобицу — бессмысленно. Слава богу, органов достаточно. Полемистов хватает. Читатели оценят, вникнут, разберутся...

Мотивы второго дискуссионного тура — из области психологии.

Аксенов и Гладилин были знаменитыми советскими писателями. Хорошо зарабатывали. Блиставали в лучах народной славы. Приехали на Запад. Тут же сбежались корреспонденты, агенты престижных издательств. Распахнулись двери университетских аудиторий...

А мы? Там изнемогали в безвестности. И тут последний хрен без соли доедаем!

Так где же справедливость?!

Справедливость имеется.

Бродский опубликовал в Союзе четыре стихотворения. Высылался как тунеядец. Бедствовал невообразимо. Лично я раза три покупал ему анальгин...

А здесь? Профессор, гений, баловень фортуны!..

Соколова перевели на шесть языков. Кто его знал в Союзе?

Алешковский разрастается с невероятной быстротой.

Да и Лимонов не последний человек...

С новаторами и архаистами дело еще более запутанное. Казалось бы, если постарше, то архаист. А молодые устремляются в творческий поиск.

Отчасти так и есть. Некрасову за шестьдесят, и работает он по старинке. Боков модернист, и возраст у него для этого подходящий.

Но спрашивается, как быть с Аксеновым? Дело идет к пятидесяти — модерн крепчает.

Лимонов юн, механика же у него вполне традиционная.

Мне кажется, так и должно быть.

Должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантазмагорическая путаница!

Последнее слово

Вероятно, я должен закончить примерно так:

В ходе конференции появилось ощущение литературной среды. Чувство многообразного и противоречивого единства. Реальное представление о своих возможностях...

Так и закончу.

Прощай, Калифорния! Прощай, город ангелов, хотя ангелов я что-то не заметил.

Прощайте, старые друзья и новые знакомые.

Прощай, рыжая девушка, запретившая оглашать свое имя.

Прощай... Я чуть не сказал — прощай, литература! Sorry. Литература продолжается. И еще неизвестно, куда она тебя заведет...

БЛЕСК И НИЩЕТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Уважаемые господа!

Прежде всего я должен извиниться перед вами за то, что не могу прочитать эту лекцию по-английски. Вот уже три года я живу в Америке и все еще плохо владею английским языком. С первых дней в Нью-Йорке я был связан с русскими эмигрантскими кругами, занимался исключительно русскими проблемами, был одним из создателей русского еженедельника «Новый американец», и английским языком мне приходилось пользоваться лишь в супермаркете и в сабвее. Вообще, русские эмигранты владеют английским языком на самых разных уровнях, которые можно обозначить следующим образом: сабвей инглиш, супермаркет инглиш, а на более высоких ступенях — тиви инглиш, дейли ньюз инглиш, и наконец, вершина знаний это — чайна таун инглиш, потому что труднее всего нам понимать английский язык, которым пользуются владельцы китайских ресторанов, прачечных и канцелярских магазинов.

Мои более разумные друзья часто корят меня за то, что я плохо владею английским. Как правило, они выдвигают два главных довода:

1. Овладев английским языком в совершенстве, ты сможешь читать в подлинниках произведения американских и английских писателей, и тогда перед тобой откроется новый ослепительный мир.

2. Усовершенствовав свой язык, ты сможешь больше общаться с американцами, лучше понять эту замечательную страну и быстрее почувствовать себя полноценным человеком.

Отвечая на эти доводы, я, в порядке оправдания, выдвигаю следующие контрсоображения.

При самых упорных занятиях английским языком я в лучшем случае смогу следить за развитием сюжета в книгах американских и английских писателей, а также понимать высказываемые ими мысли и идеи.

Но мысли, идеи и тем более сюжет — это как раз то, что меня интересует в литературе меньше всего. Более всего мне дорога в литературе ее внеаналитическая сторона, ее звуковая гамма, ее аромат, ее градус, ее цветовая и фонетическая структура, в общем, то, что мы обычно называем необъяснимой привлекательностью.

Кроме того, у меня на родине очень хорошо, как это ни странно, поставлено переводческое дело. Многие выдающиеся русские писатели и поэты, не имея возможности писать и публиковать по цензурным соображениям собственные книги, начинали, в поисках средств к существованию, заниматься переводами. Тут можно назвать массу замечательных имен, начиная с Пастернака и Ахматовой и кончая Бродским и Ахмадулиной. В результате уровень переводов явно повысился за счет уровня литературы в целом. Так или иначе в великолепных русских переводах существует Джойс, Оруэлл, Киплинг, Хемингуэй, Фолкнер, Колдуэлл, Томас Вулф, Стейнбек, Воннегут, Апдайк, Сэлинджер и многие, многие другие выдающиеся англоязычные писатели.

Что же касается личных контактов, то я не располагаю большим досугом, и если вижусь с людьми, то, как правило, эти встречи связаны с делом, с литературой, а в этом смысле наибольший интерес для меня представляют американские слависты и переводчики, да и я в первую очередь очень могу быть интересен переводчикам и славистам, то есть людям, говорящим по-русски, таким, например, как мои ближайшие среди американцев друзья — профессор русской филологии Карл Проффер и переводчица Энн Фридмен, чей русский язык не хуже моего.

Разумеется, все это лишь отговорки и попытки оправдать свое легкомыслие, и потому я еще раз прошу вас извинить меня за то, что эта лекция звучит по-русски.

Вернемся к теме нашей лекции.

В названии я использовал заглавие одного из романов Оноре де Бальзака — «Блеск и нищета куртизанок». В сопоставлении литературы с дамой полусвета я не вижу ничего кощунственного, во всяком случае роль светской львицы более пристала литературе, нежели роль домохозяйки, воспитательницы подрастающего поколения или добросовестной служащей. С дамой полусвета литературу роднит еще и то, что ценность ее заключена в ней самой, а не в исповедуемых ею принципах. Это название кажется мне уместным еще и потому, что в русской литературе на нынешнем этапе можно обнаружить одновременно черты бесспорного величия и несомненного убожества.

Начнем с того, что русская литература, в отличие от европейской и американской литературы, с западной точки зрения литературой не является.

Этот парадокс требует некоторой расшифровки. Русская Православная Церковь (господствующая Церковь в России), в отличие от западных церквей, Католической и Протестантской, никогда не пользовалась в народе большим авторитетом. В Православной Церкви не было той грозной силы, которая заставляла бы ее уважать и бояться. В русских народных сказках полно издевок и насмешек над священнослужителями — попами и попадьями, которые изображаются, как правило, алчными, глупыми и хитрыми людьми. В истории Русской Церкви было немало мучеников и подвижников, но очень мало религиозных деятелей с позитивной программой. Авторитет Русской Церкви укрепляется именно сейчас, в последние десятилетия, в эпоху диссидентства, когда несколько русских священников выказали огромную силу духа в борьбе с тоталитарными порядками, снискав, таким образом, любовь и уважение народа.

Что же касается русской философии, то она гораздо моложе западной и развиваться начала лишь в девятнадцатом веке, дав миру несколько очень ярких имен — Булгакова, Соловьева, Леонтьева, Бердяева и других. Исторически же философов в России заменяли всякого рода антисоциальные личности — юродивые, кликуши, спившиеся резонеры и попросту — балаганные шуты. В отношении к ним русское общество проявляло любопытство, смешанное с некоторым чувством брезгливости.

А вот литература в России всегда была очень популярна и пользовалась огромным уважением. Писателя в России всегда воспринимали как пророка, приписывали ему титанические возможнос-

ти и ждали от него общественных деяний самого крупного, государственного масштаба. Роль и поприще писателя всегда считались в России очень почетными, и потому сказать о себе: «Я — писатель» всегда считалось в России крайне неприличным, все равно как сказать о себе: «Я — красавец», «Я — сексуальный гигант» или «Я — хороший человек». Отношение к писателям в России напоминает отношение американцев к кинозвездам или спортивным чемпионам, так что если бы в Советском Союзе существовала телевизионная реклама, то в перерывах между фильмами появлялись бы на экране не Фара Фосет и не Мухаммед Али, а Курт Воннегут, Апдайк и Айзек Башевис Зингер. Хотя Фара Фосет выглядит гораздо лучше Зингера и даже Воннегута.

В силу всего этого литература постепенно присваивала себе функции, вовсе для нее не характерные. Подобно религии, она несла в себе огромный нравственный заряд и, подобно философии, брала на себя интеллектуальную трактовку окружающего мира. Из явления чисто эстетического, сугубо художественного литература превращалась в учебник жизни, или, если говорить образно, литература из сокровища превращалась в инструкцию по добыче золота.

Этому немало способствовала русская литературная критика, основы которой закладывали такие выдающиеся общественные деятели, как Белинский, Чернышевский и Добролюбов. Критика предъявляла к литературе требования, менее всего связанные с ее эстетическими качествами и касающиеся главным образом ее общественно-поли-

тических тенденций. От русской литературы ожидали заботы о народном благе, призывов к просвещению и не в последнюю очередь — захватывающей и убедительной нравственной проповеди.

Таким образом, история подлинной русской литературы была историей борьбы за сохранение ее эстетических прав, за свободное развитие ее в рамках собственных эстетических законов, ею самую установленных.

В этом смысле чрезвычайно показательна фигура Александра Сергеевича Пушкина, величайшего русского поэта и прозаика, олицетворяющего собой все лучшее и наиболее полноценное в русской литературе. Сейчас в Советском Союзе личность и творчество Пушкина канонизированы абсолютно, его именем названы сотни гуманитарных учреждений, его сочинения тщательнейшим образом изучаются в школах и университетах, его портреты встречаются почти так же часто, как портреты Ленина и Брежнева, его изображения, порой безнадежно далекие от оригинала, попадают в общественных банях, на стадионах, в детских садах и в зубоврачебных клиниках. Творчество Пушкина объявлено священным, как, впрочем, и творчество Ленина с Брежневым, но так было далеко не всегда. Современники обвиняли Пушкина в легкомыслии и пустословии, сочиняли на него язвительные пародии, требовали и ждали от него произведений более четкого общественно-политического звучания. Я хочу в этой связи привести здесь одну выразительную цитату из переписки Пушкина с его близким другом князем Вяземским. Вяземский в своем письме к Пушкину говорит:

«Задача каждого писателя есть согреть любовью к добродетели и возбуждать ненавистью к пороку...»

На что Пушкин уверенно и резко отвечает:

«Вовсе нет. Поэзия выше нравственности. Или во всяком случае — совсем иное дело».

В этом заявлении Пушкина особенно важна последняя часть. Судить о том, что выше, поэзия или нравственность, так же трудно, как выяснить — кто сильнее, слон или кит, и трудно именно потому, что это совершенно разные вещи.

Предъявлять Пушкину нравственные, идеологические претензии было так же глупо, как упрекать в аморализме ястреба или волка, как подвергать моральному осуждению вьюгу, ливень или жар пустыни, потому что Пушкин творил, если можно так выразиться, в режиме природы, сочувствовал ходу жизни в целом, был способен выразить любую точку зрения, и его личные общественно-политические взгляды в данном случае совершенно несущественны. Герои Пушкина редко предаются абстрактным рассуждениям, и если даже это происходит, то предметом рассуждения чаще всего оказывается художественное творчество, чему примером может служить «маленькая трагедия» Пушкина — «Моцарт и Сальери».

Пушкин был не художником по преимуществу и тем более не художником по роду занятий, а исключительно и только художником по своему физиологическому строению, если можно так выразиться, его сознание было органом художественного творчества, и все, к чему он прикасался, становилось литературой, начиная с его частной жизни, совершившейся

в рамках блистательного литературного сюжета, украшенного многочисленными деталями и подробностями, с острым трагическим эпизодом в финале.

Можно сказать, что творчество Пушкина было победой чистого эстетизма над общественно-политическими тенденциями проповедничества и морализаторства в литературе.

Таким образом, если считать, что русская литература началась с Пушкина, то это начало было чрезвычайно многообещающим и удачным.

Коснемся теперь творчества четырех гигантов русской прозы, явившихся на смену Пушкину. Я имею в виду — Толстого, Достоевского, Тургенева и Гоголя.

Все эти четыре писателя были обладателями громадного пластического дарования, и все они в той или иной степени стали жертвами своих неудержимых попыток выразить себя в общественно-политических и духовно-религиозных сферах деятельности.

Лев Толстой, написав десяток гениальных книг, создал затем бесплодное нравственное учение, отрекся от своих произведений, исписал тысячи страниц необычайно скучными баснями для народа и почти дегенеративными трактатами об искусстве, о балете и шекспировской драме и умер в страшных нравственных мучениях на заброшенной железнодорожной станции, покинув семью и не решив ни одну из мучивших его проблем.

Показательна также судьба его яснополянской школы. Лев Толстой создал в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, сам преподавал в этой школе, восхищался живым умом и непосредствен-

ностью своих учеников, внушал им благородные нравственные принципы, в результате многие из них стали «народниками», спились, прожили жизнь надломленными людьми и очень редко поминали своего благодетеля добрым словом.

В памяти народа Толстой остался великим художником, а его побочная деятельность, которую он считал главным делом жизни, — забыта и вызывает интерес лишь в академических кругах.

Достоевский написал четыре гениальных романа, но в своей журнально-общественной деятельности, как публицист славянофильского толка, выказал себя реакционером, а главное — страшным занудой. Его необычайно многословный «Дневник писателя» не идет ни в какое сравнение с художественными текстами того же автора.

Все лучшее в жизни Достоевского было связано с художественной литературой, а все худшее — каторга, ссылка, солдатчина, финансовые и общественно-политические неурядицы — с попытками утвердить себя во внехудожественных сферах.

Тургенев начал с гениальных «Записок охотника», затем писал романы «с идеями» и уже при жизни утратил свою былую славу. Защищая Тургенева, его поклонники любят говорить о выдающихся описаниях природы у Тургенева, мне же эти описания кажутся плоскими и натуралистичными, они, я думаю, могли бы заинтересовать лишь ботаника или краеведа. Герои Тургенева схематичны, а знаменитые тургеневские женщины вызывают любые чувства, кроме желания с ними познакомиться. В наши дни мне трудно представить себе интеллигента, перечитывающего романы Тургене-

ва без какой-либо практической или академической цели вроде написания ученой диссертации на тему: «Тургенев и русская общественная мысль 60-х годов девятнадцатого столетия».

Гоголь обладал феноменальным художественным дарованием сатирической направленности, обладал не совсем обычным для русского писателя тотальным чувством юмора, написал лучший роман на русском языке — «Мертвые души», затем углубился в поиски нравственных идеалов, издал опозорившую его книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой пришел к оправданию рабства, загубил в себе художника и умер сравнительно не старым и абсолютно сумасшедшим человеком.

На смену этим четырем титанам пришел Антон Павлович Чехов — первый истинный европеец в русской литературе, занимавшийся исключительно художественным творчеством и не запятнавший себя никакими общественно-политическими выходками и фокусами. Чехов первым добился широкого признания на Западе, лучшие американские писатели охотно говорили о том влиянии, которое оказало на них творчество Чехова, и остается лишь добавить, что у себя на родине Чехов был при жизни объектом самой разнузданной и оскорбительной травли со стороны литературных критиков школы Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Его упрекали в цинизме, бессердечии и равнодушии к страданиям народа, а критик Михайловский даже предрекал ему голодную смерть под забором.

Однако Чехов выказал силу духа, не опустился до общественно-политических телодвижений, сохранил в себе художника и обессмертил свое имя.

Его творчество исполнено достоинства и покоя, оно НОРМАЛЬНО в самом благородном значении этого слова, как может быть нормально явление живой природы.

Тут уместно было бы припомнить одну цитату из Шекспира. В одном из своих монологов Гамлет произносит слова, которые я, к сожалению, могу воспроизвести лишь приблизительно, но за смысл их почти ручаюсь. Гамлет восклицает:

«Что же это я, как шлюха, душу свою выражаю в словах...»

Гамлет хочет сказать, что слова есть продукт бесплодной рефлексии, что настоящий мужчина должен выражать себя в активной созидательной деятельности, что именно деятели нужны современному обществу и так далее...

Все это, может быть, звучит вполне резонно в устах государственного мужа, каковым являлся Гамлет, но совершенно неприемлемо для художника, потому что СЛОВО для художника как раз и является его ДЕЛОМ. Тем не менее лучшие русские писатели, достигнув высочайшего уровня в своем творчестве, начинали испытывать безудержную тягу к общественно-политической деятельности, и все без исключения потерпели неудачу.

Примером такой глобальной неудачи можно считать публицистическую деятельность Солженицына, который начал с потрясающих романов, но, оказавшись на Западе, выступил в роли обличителя и пророка, возглавив чрезвычайно опасную, национально-христианскую и в конечном счете — авторитарную тенденцию в русской общественной мысли, изрядно скомпрометировав себя в глазах тех чита-

телей, кто хотел бы видеть будущую Россию — европейским демократическим государством.

Литературным антиподом Солженицына можно считать великого русского поэта Иосифа Бродского, моего давнего знакомого и кумира, который не соблазнился никакой общественно-политической ролью, остается поэтом, художником, творцом и, кстати сказать, подвергается за это довольно резкой критике в русской эмигрантской печати, где доживают свой век последователи Белинского и Добролюбова, не обладающие их бескорыстием и страстью, но преумножившие их заблуждения.

И к Бродскому, и к Солженицыну я еще вернусь, когда речь пойдет о русской литературе на современном этапе.

Означает ли все вышесказанное, что литература лишена возможности оказывать благотворное нравственное воздействие на читателя? Ни в коем случае. Подлинная литература таковое воздействие оказывает и в очень значительной степени, но не прямо, как, допустим, плакат или средство массовой информации, а сложным косвенным образом. Проанализировать механизм этого воздействия трудно, гораздо проще обратить ваше внимание на простое и ясное чувство, которое испытывали чаще или реже все без исключения грамотные, полноценные читатели как в России, так и на Западе. Когда вы читаете замечательную книгу, слушаете прекрасную музыку, разглядываете талантливую живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и беззвучно произносите такие слова:

«Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же, сей-

час же начну жить иначе — достойно, благородно и умно...»

Вот это чувство, религиозное в своей основе, и есть момент нравственного торжества литературы, оно, это чувство, — и есть плод ее морального воздействия на сознание читателя, причем воздействия, оказываемого чисто эстетическими средствами...

Итак, до революции русская литература сравнительно успешно развивалась в попытках отстоять свои художественные права, в борьбе между требованиями долга перед обществом и желанием служить исключительно собственному предназначению.

В России существовала клерикальная и гражданская цензура, иногда довольно мягкая, порой сравнительно жестокая, в России существовала требовательная и бесцеремонная литературная критика, проникнутая интересами общественного блага, но в России до 17-го года отсутствовала карательная система, направленная против художников, в России не существовало аппарата физического подавления художественного творчества, а значит, лучшие из писателей смогли осуществить свои задачи и если терпели поражение, то в борьбе с собой, а не в безнадежном поединке с государством.

После 17-го года все изменилось. Ленин официально и недвусмысленно сформулировал роль искусства как одного из многих подручных средств переустройства мира, и этот период можно считать началом планомерного истребления русской литературы, которая существовала в невыносимых условиях, теряя лучших своих представителей и унижаясь до полного отождествления себя с государством. По официальным данным, около восьмиста русских ли-

тераторов, причем наиболее заметных, было физически уничтожено в сталинских концентрационных лагерях, но даже это не самое страшное. Гораздо страшнее то, что литература в целом стала постепенно утрачивать самое драгоценное и жизненно необходимое качество — способность к открытому и безбоязненному самовыражению.

И если в двадцатые и даже в тридцатые годы русская литература еще давала какие-то яркие, достойные плоды, то это нельзя считать фактом ее нормального естественного развития, это был, выражаясь несколько пышно, — свет погасшей звезды, или, говоря языком Солженицына, — это была пена от ушедшего под землю озера.

Истинная литература продолжала существовать еще некоторое время вследствие того, что карательный механизм приводился в действие постепенно, да и в дальнейшем работал с некоторыми перебоями.

К началу войны 41-го года литература была почти полностью истреблена, и в этой сфере на долгие годы воцарилось тягостное убожество.

В конце 50-х годов недолгая хрущевская оттепель вызвала к жизни приток литературных сил, и на страницах журналов запестрели имена талантливых молодых писателей — Аксенова, Гладилина, Войновича, Окуджавы, Ефимова, Ахмадулиной, Шукшина, Искандера, Балтера и многих других.

Это было время великих иллюзий, огромных надежд. Многим казалось, что литературный процесс может быть восстановлен, что могут быть наведены мосты от классической русской литературы к здоровым художественным тенденциям начала шестидесятих годов.

Увы, этим иллюзиям не суждено было осуществиться. Официальный процесс демократизации общества быстро зашел в тупик, и то, что пришло ему на смену, поразило еще большим убожеством, бесплодием и скукой.

Если при Сталине талантливых писателей сначала издавали, затем обливали грязью в печати и, наконец, расстреливали или уничтожали в лагерях (Бабель, Пильняк, Мандельштам), то теперь никого не расстреливали, почти никого не сажали в тюрьму, но и никого не печатали. Лучшие писатели, уподобляясь заговорщикам, писали, как говорится, «в стол», а менее честные и стойкие верой и правдой служили государству, получая за это доступ к очень заманчивым материальным благам.

Далеко не все мои друзья разделяют эту крайне пессимистическую точку зрения. Некоторые стараются меня переубедить. Они говорят мне:

«Но ведь существуют же талантливые книги. Удается же некоторым писателям обходить цензурные преграды. Существует же какая-то лазейка между совестью и подлостью... И так далее».

В ответ на это я рассказываю им одну и ту же притчу. Эта притча банальна, но при этом она довольно точно выражает суть происходящего.

Представьте себе, что у вас есть мать. Что она живет, допустим, в Милуоки вместе с вашим братом. И вдруг вы узнаете, что ваша мать тяжело заболела и попала в госпиталь. Вы посылаете брату телеграмму с вопросом:

«Что с матерью? Отвечай немедленно!»

Брат немедленно отвечает примерно следующее:

«У нас в Милуоки скверная погода».

Дальше идет талантливое и яркое описание климата в Милуоки. Но о матери — ни слова.

Вы начинаете еще больше волноваться. Вы посылаете еще одну телеграмму с тем же вопросом:

«Что с матерью?»

Брат отвечает:

«Транспорт у нас в Милуоки работает плохо».

Дальше идет подробное талантливое описание работы транспорта в Милуоки. Но о матери — ни слова.

И так — без конца. О том, что нас по-настоящему волнует, — ни слова. О главном — ни слова.

Под матерью здесь можно понимать нашу родину и ее судьбу или, что сложнее и точнее, — то самое ценное, что делает литературу — литературой, а именно: открытое, свободное и безбоязненное самовыражение...

Когда я жил в Советском Союзе и мои рассказы нигде не печатали, моя восьмилетняя дочка, которая очень из-за этого переживала, как-то раз дала мне совет. Она сказала:

«Папа, что ты все пишешь о плохом? Ты напиши о чем-нибудь хорошем. Напиши о собаке. Может быть, если ты напишешь о собаке, твой рассказ напечатают...»

В ответ на это я придумал короткую сказку. Она тоже довольно банальна и тоже, как мне представляется, выражает суть вещей.

В некотором государстве жил-был художник. Однажды его пригласил к себе король и говорит:

— Нарисуй мне картину. А я тебя щедро вознагражу.

— Что же я должен нарисовать? — спросил художник.

— Все, что угодно, — ответил король, — все, что угодно, кроме маленькой зеленой гусеницы.

— Значит, я могу нарисовать все, что я захочу? — еще раз спросил художник.

— Разумеется, — ответил король, — за исключением маленькой зеленой гусеницы.

Художник отправился домой, чтобы взяться за работу. Прошел месяц, второй, третий, королю надоело ждать, и он снова вызвал к себе художника.

— Где же картина? — спросил он.

Художник вздохнул и ответил:

— Я не могу написать эту картину. Потому что я с утра до ночи думаю о маленькой зеленой гусенице...

Итак, картина современной русской литературы представляется мне очень безрадостной. Почему же я называл свое выступление «Блеск и нищета?». С нищетой, казалось бы, все ясно, а вот блеска что-то не видно.

Это не совсем так.

Томас Манн однажды высказался следующим образом:

«Немецкая литература там, где нахожусь я».

Это заявление может показаться нескромным даже со стороны такого гиганта, как Томас Манн, но лишь на первый взгляд. Томас Манн хотел сказать простую вещь, и упоминание собственного имени было в этом высказывании — условным и случайным. Он хотел сказать, что пока живет и работает хотя бы один настоящий писатель — литература продолжается. Пока живет и работает

хотя бы один гениальный русский писатель — русская литература продолжает оставаться гениальной.

Зерно литературы может нести в себе один человек, более того, оно может десятилетиями храниться под слоем пошлости и гнили, а затем, в первую же благоприятную минуту — дать ярчайшие всходы.

Надежду на возрождение русской словесности дает мне то, что в литературе продолжает трудиться один гениальный русский писатель. Это — Иосиф Бродский. Кроме него в литературе работают несколько мастеров очень высокого класса: Аксенов, Войнович, Искандер, Синявский, Зиновьев, Ерофеев.

Помимо этого существует и критика. Мои друзья и коллеги Вайль и Генис пытаются создавать на Западе образцы чисто художественной, сугубо эстетической критики и делают это успешно, о чем свидетельствует хотя бы ненависть к ним со стороны почти всех эмигрантских беллетристов, которые полагают, что убожество с дальнего расстояния может сойти за благородство, а постоянная неизбывная мрачность заменит в их произведениях глубину.

С бесконечным нетерпением мы ждем новых художественных книг Солженицына.

Я бы хотел дожить до тех дней, когда возродится наше опозоренное отечество, ставшее пугалом мира, и это будут дни возрождения нашей многострадальной литературы. Оба эти процесса неизбежны, и я даже не знаю, какого из них я жду с большим волнением...

**<ПРЕДИСЛОВИЕ
К КНИГЕ Н. САГАЛОВСКОГО
«ВИТЯЗЬ В ЕВРЕЙСКОЙ ШКУРЕ»>**

«Витязь в еврейской шкуре» — первая книга Н. Сагаловского.

У поэзии Наума Сагаловского есть характерная особенность. Ею восхищается либо крайне интеллигентная публика, либо — совершенно неинтеллигентная.

Так называемый мидл-класс поэзию Сагаловского — отрицает. И вот почему.

Писатель нередко выступает от имени своих героев. Это — распространенный литературный прием. Так писал Зощенко. А из наиболее даровитых современников — Ерофеев.

Сагаловский выступает от имени практичного, напористого, цепкого, упитанного — еврейско-эмигрантского мидл-класса.

Мидл-класс узнает себя и начинает сердиться. Тогда Сагаловского называют циником, шуткарем, безответственным критиканом и даже — антисемитом.

Это — глупо.

Умение шутить, даже зло, издевательски шутить в собственный адрес — прекраснейшая, благороднейшая черта неистребимого еврейства.

Спрашивается, кто придумал все еврейские анекдоты? Вот именно...

Сагаловский это знает.

Еврей возвращает российской словесности забытые преференции — легкость, изящество, тоталь-

ный юмор. Таким же способом — представьте — написан «Домик в Коломне». И тем более — «Граф Нулин».

Через множество поколений Сагаловский восходит к рассказчикам неандертальской эпохи. Которым за байки и юмор разрешали не охотиться, а позднее не трудиться...

Двадцать лет я проработал редактором. Сагаловский — единственная награда за мои труды.

Я его обнаружил. Вернее, он написал мне письмо. И там, между прочим, говорилось:

...Поэты, пусть они и плохи,
Необходимы нам, как свет,
Поэт всегда — продукт эпохи,
А без продуктов жизни нет...

Я понял — это наш человек. Я притащил его в «Новый американец». Я давал ему советы. (Которые он решительно игнорировал.)

Мы вместе начинали. Вместе ушли из газеты. Так что судьба наша — общая...

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ЛЕТЫ

Мемуарная литература пользуется спросом во всем мире, а у российского читателя, долгие годы насильственно отчуждаемого от собственной истории, жанр воспоминаний вызывает особый, жадный и неутолимый интерес. При этом увлекают нас не столько частные подробности жизни мемуариста (иной раз сами по себе весьма любопытные), сколько возможность найти в чужом душевном опыте разгадку нашей собственной драмы.

Здесь, в эмиграции, мы получили доступ к целым напластованиям мемуарной литературы, от записок бывших соратников Ленина и вождей Белой армии до дневников окололитературных дам и всевозможных претенциозных неудачников. В общем потоке современной мемуаристики читатель выделяет те произведения, в которых сочетаются: богатый опыт, интеллект, проницательность, способность к обобщениям, а главное — честный, свободный от эгоистического самолюбия подход к событиям.

Так на общем фоне более или менее значительных свидетельств выделяются полные трагизма мемуары Надежды Мандельштам и Евгении Гинзбург, фундаментальный труд Нины Берберовой «Курсив мой» и поразительная книга Солженицына «Бодался теленок с дубом» — история борьбы писателя с литературными функционерами и чинами КГБ.

Недавно к достойным образцам мемуарной литературы присоединились воспоминания одного из старейших и наиболее заслуженных прозаиков эмиграции Василия Семеновича Яновского «Поля Елисейские», выпущенные нью-йоркским издательством «Серебряный век».

К сожалению, имя Василия Яновского до странности мало говорит современным русским читателям, хотя Яновский бесспорно принадлежит к числу самых талантливых, глубоких и уж во всяком случае — наиболее оригинальных прозаиков первой эмигрантской волны.

Юношей оказавшись в эмиграции, Яновский сформировался как литератор в предвоенном Париже, где дебютировал в 1930 году повестью «Колесо». Затем одна за другой выходили его книги — «Мир», «Любовь вторая», «Портативное бессмертие».

Влиятельные критики быстро оценили дарование молодого Яновского. Требовательный и даже придирчивый Георгий Адамович назвал его «серьезным писателем». Доброжелательный, но строгий Михаил Осоргин говорил:

«Нельзя не признать в Яновском ясно выраженной и при этом какой-то особой, напористой талантливости. Для него литература — не случайность, и он умеет работать, вероятно, без легкости, может быть, даже с большим трудом, но и с уверенностью».

Яновский заявил о себе не как бытописатель, не как злободневный политический публицист и не как поставщик увлекательного семейного чтения. Его проза лишена поверхностного косметичес-

кого изящества, в ней нет той завораживающей легкости, которая нередко сопутствует ординарному содержанию. Яновский оперирует глобальными метафизическими идеями и понятиями, коллизии в его романах разрешаются на уровне высших нравственных ценностей, что и требует от писателя многоплановой композиции и сложной, разнородной художественной ткани.

Герои Яновского часто оказываются в невероятных, жестоких и трагических обстоятельствах, в его романах есть элементы фантастики и сюрреалистического гротеска, земное и обыденное соседствует в них с мистическим и астральным...

Завоевав известность во Франции, Яновский в 1942 году перебрался в Соединенные Штаты. Впоследствии его книги выходили в Европе и в Америке, а рассказы, повести и эссе публиковались в лучших эмигрантских периодических изданиях.

Кажется парадоксальным, что наиболее значительные романы Яновского («По ту сторону времени», «Кимвал бряцающий», «Великое переселение») появились на английском языке и до сих пор не изданы по-русски. Поэтому-то имя Яновского больше говорит сейчас американской читающей публике, чем нынешнему поколению русских в Нью-Йорке, не говоря о Москве, Ленинграде или Новосибирске.

Следует отметить, что уважительное предисловие к роману Яновского «По ту сторону времени» было написано крупнейшим англоязычным поэтом Уистеном Оденем, отдававшим должное не только захватывающей проблематике этой книги, но и ее формально-эстетическим качествам. Заканчивает Оден свое предисловие такими словами:

«В романе „По ту сторону“ есть сцены, которые я буду помнить всю свою жизнь».

В своих мемуарах Яновский скупыми и точными штрихами воссоздает атмосферу литературного Парижа 30-х годов, насыщенного творческими флюидами, томимого бедностью и предчувствием грядущей катастрофы. Перед нами проходит вереница как весьма замечательных, так и вполне заурядных деятелей эмиграции, от Бунина и Мережковского до Злобина и Проценко, и каждое, самое ординарное лицо запечатлевается в нашей памяти благодаря ярким, выразительным деталям, которые использует автор.

Внутренняя задача мемуаров Яновского состоит в том, чтобы превратить субъективное художественное творение — в объективный исторический документ, и потому не случайно книге предпослан эпиграф из Вольтера: «О мертвых мы обязаны говорить только правду», и уж тем более не случайно — дополнительное предупреждение Яновского:

«Я должен вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если я буду о мертвых повествовать, как о живых».

Кому-то мемуары Яновского покажутся резкими и даже злыми, но ни один компетентный и непредвзятый читатель не обнаружит в них ни попытки сведения счетов, ни выражения личных обид или запоздалых частных претензий к именитым покойникам — воспоминания продиктованы стремлением к правде, той окончательной, выверенной временем правде, каковая доступна лишь умному, внимательному и тонкому очевидцу. Таким образом, Яновский избегает как «хрестоматийного глян-

ца», так и злорадного, торжествующего очернительства, пренебрегает как розовыми, так и черными тонами, находя в каждом цвете все оттенки спектра.

К ценнейшим преимуществам Яновского относится еще и то, что, будучи писателем-интеллектуалом, он не только воссоздает жизненный материал в бытовой плоскости, не только рисует характеры деятелей эмиграции в их житейских проявлениях, но и легко ориентируется в религиозных, философских, нравственных проблемах, то есть в духовной атмосфере русского Парижа.

Сам инструмент Василия Яновского по существу интеллектуален, его воспоминания ценны не количеством фактов, не объемом материалов, не линейной полнотой изложения, а «вертикальным» (по его собственному выражению), выборочным, осмысленным подходом к жизненной реальности.

Знакомство с событиями прошлого, выхваченными из мрака добросовестным, талантливым свидетелем, дают нам возможность лучше разобраться в настоящем, уловить в нем прогноз на будущее.

Ведь память — это единственная река, которая движется против течения Леты.

FROM USA WITH LOVE

В семидесятые годы я был писателем-нонконформистом с большими претензиями и без единой опубликованной строчки, не считая журнально-газетной халтуры. Мои амбиции были обратно пропорциональны возможностям, то есть отсутствие возможностей давало мне право считать себя непризнанным гением. Примерно так же рассуждали и мои друзья.

Наши мечты и надежды были устремлены на Запад. Мы следовали принципу обратной логики: если у нас все плохо, значит, у них все хорошо, вернее, то, что плохо у нас, должно быть замечательно у них. Стоит нам опубликоваться на Западе, и все узнают, какие мы гениальные, brave ребята.

И вот я на Западе. Гения из меня пока не вышло, некоторые иллюзии рассеялись, зато я неожиданно превратился в среднего американского писателя русского происхождения, одного из сотен тех, кто публикуется в приличных журналах и выпускает свои книги в приличных издательствах.

Боюсь, что многие из моих друзей, оставшихся в России, все еще находятся во власти иллюзий как насчет собственной гениальности (поскольку возможностей у них там не прибавилось), так и по части райской жизни на Западе.

Мне давно хотелось обратиться к ним с письмом на тонкой папиросной бумаге, которое знакомый итальянец готов переправить в Россию, прибегнув к одному из способов, разработанных нами совместно. Вот примерный текст этого, все еще неотправленного, письма.

Дорогие мои!

Вынужден быть крайне лаконичным, дабы письмо уместилось в тайнике знакомого сеньора.

Поэтому — только о главном, только о наших с вами литературных делах...

Знайте, что Америка — не рай, не филиал земного рая, и это, я думаю, мое главное открытие на Западе. Мое постижение Америки, вернее (ближе к делу) — литературной жизни на Западе, делится на три периода.

Сначала все было прекрасно: издательств русских много, газет и журналов более чем достаточно, цензура отсутствует.

Затем все было ужасно: гонораров русские журналы не платят, издательства публикуют всякую чепуху, отсутствие цензуры (при отсутствии серьезной критики) — плодит графоманов.

А затем все стало более или менее нормально. Оказалось, что в Америке есть все, дурное и хорошее, ибо свобода равно благосклонна к ужасному и замечательному, как луна, равнодушно освещающая дорогу и хищнику, и жертве, или как солнце, под лучами которого одинаково быстро вытягиваются сорняки и ржаные колосья...

Мы поменяли не общественный строй, не экономическую формацию, не географию, не климат и тем более — не собственную натуру. Человек не меняется, и формы жизни остаются прежними. Меняем мы одни печали на другие, только и всего. Лично я решительно предпочитаю здешние печали.

Когда-то я старался проникнуть в официальную советскую литературу. Затем мне хотелось думать, что я принадлежу к неофициальной советской литературе. Затем я уехал и без особого труда прибил к литературе эмигрантской.

Еще через два года мои рассказы сгоряча перевели на три-четыре языка и я наконец понял главное.

Бессмысленно делить литературу на официальную и подпольную, на русскую и советскую, на литературу метрополии и диаспоры. Существует одна литература — мировая. И если вам повезло от рождения (талант) и везение продолжается (хороший переводчик, дельный литературный агент), то через определенное время вы станете частицей мировой литературы. Пусть микроскопической, но все-таки частью огромного целого.

Перелетев через океан, вы окажетесь далеко не в раю. (Я говорю сейчас не о колбасе и джинсах, речь идет только о прозе.)

Цензура, действительно, отсутствует, а вот конъюнктура имеется. (Я давно заметил, что гнусности тяготеют к рифме. Цензура-конъюнктура... Местком-горком-профком...) Дома мы имели дело с идеологической конъюнктурой. Здесь имеем дело с конъюнктурой рынка, спроса. С гнетущей и непостижимой для беспечного литератора идеей рентабельности.

Русский издатель на Западе вам скажет:

— Ты не обладаешь достаточной известностью. Ты не Солженицын и не Бродский. Твоя книга не сулит мне барышей. Давай я издам ее за твой собственный счет...

Американский издатель поведет себя гораздо деликатнее. Он скажет:

— Твоя книга — прекрасна. Но о лагерях мы уже писали. О диссидентах писали. О КГБ и фарцовщиках писали. Тошнотворная хроника совет-

ских будней надоела читателю... Напиши что-нибудь смешное об Америке... Или о Древнем Египте...

И при этом вы будете лишены даже последнего утешения неудачника — права на смертельную обиду. Литература здесь принадлежит не государству, а издателю, а издатель вкладывает собственные деньги, так почему бы ему не относиться к ним бережно?

Тем не менее, вас рано или поздно опубликуют, как по-русски, так и по-английски. Русские издательства вырастают, как грибы. В конце концов издадитесь за собственный счет. Это недорого.

Американский же рынок практически безбрежен. Талантливая серьезная книга рано или поздно найдет издателя.

Издателей здесь сотни, может быть — тысячи. Одному из нескольких тысяч серьезная книга покажется рентабельной, или, как минимум, не слишком убыточной.

Несерьезная — тоже. (При наличии таланта.) И какую бы макулатуру вы ни производили, от высокой дидактики до низкой порнографии (а я уверен, что производство классной макулатуры требует таланта, навыка и даже мастерства), американский рынок поглотит ее. И может быть, вы станете первым из русских литературных ремесленников, заработавших в Америке большие деньги...

Разумеется, вас могут ожидать здесь досадные неожиданности. Издатель русских книг вам скажет (или промолчит, но вы услышите):

— Ты жил в Союзе и печатался на Западе. Ты мог легко угодить в тюрьму. В таких случаях западные газеты поднимают шум. Это способствует

продаже твоей книги... А сейчас ты на воле. И в тюрьму при твоём образе жизни угодить нелегко. Поэтому я откладываю издание твоей книги до лучших времен...

«До лучших времен» — это значит — пока я не сяду в американскую тюрьму?!

Вы скажете: цинизм, прагматизм!.. (Опять — рифмующаяся гадость!) Но я вам отвечу: «Да, а что?» Издательство вкладывает собственные деньги. Давайте же позволим ему быть экономным и расчетливым.

Тем более что уж по-русски-то вас обязательно издадут. Здесь издается все, включая тех, кто этого, по-моему, и не заслуживает.

Вас издадут, и вы должны быть к этому готовы. Потому что ваша иллюзия собственной тайной гениальности неизбежно рассеется. Из кельи непризнанного гения вы угодите в бесконечное пространство мировой литературы, в первой шеренге которой, за чертой горизонта, выступают Толстой, Сервантес и Джойс, а далеко за вашими спинами в дымке абсолютной безвестности плетутся икс, игрек и зет. А вы — посередине.

Боюсь, что многие из вас окажутся средними писателями. (Прибавьте Джудит Кранц к Толстому и разделите на два!) Пугаться этого не стоит. Не бойтесь середины. Именно на этой территории происходит чаще всего самое главное...

И еще одно предостережение. Оказавшись в составе мировой литературы, вы неожиданно перестанете чувствовать свою конкретную аудиторию. А может быть, вообще перестанете задумываться о том, для кого вы пишете.

Когда-то вы писали для советских редакторов, пытаетесь убедить их в том, что вы лояльный, но при этом способный и честный литератор. Затем вы писали для узкого круга своих друзей и единомышленников, пытаетесь освоиться в тесноватых катакомбах нонконформизма. Потеряв терпение, вы начали писать для гипотетического западного читателя, стараясь дезавуировать коммунистический режим, и это было абсолютно естественно и похвально, хотя бы в силу того, что требовало от вас незаурядного мужества или крайней беспечности — достоинств равно привлекательных.

И вот вы оказались на Западе. Ваши рассказы опубликованы по-русски и по-английски. В конце концов чувство аудитории начинает безнадежно расплываться. Для кого и о чем вы пишете? Для американцев о России? Об Америке для русских? О себе для всех, кто удосужится раскрыть вашу книгу? В результате оказывается, что вы пишете для себя. Для хорошо знакомого и очень близкого человека, который с отвращением глядит на вас, пока вы бреетесь. Короче, ваше дело раскинуть сети, а кто в них попадет: французский студент, американский дантист, русский делец-эмигрант с Брайтон-Бич, советский диссидент или майор КГБ — уже не имеет для вас никакого значения. Главное сделано — сети раскинуты...

Я знаю, что вам нелегко. Догадываюсь, что эмиграция повлияла на качество вашего выбора. Раньше приходилось выбирать между советским энтузиазмом и аполитичностью, между сотрудничеством с властями и удалением в монастырь собственного духа. Сейчас все по-другому. Вам нуж-

но выбирать между рабством и свободой, между безмолвным протестом и открытым безбоязненным самовыражением.

Никто не имеет морального права побуждать заключенного к бунту. Никто не имеет морального права требовать от человека отваги и гражданской смелости. Никто не может сделать выбора — за вас.

И все-таки сделать его — необходимо. Как — это ваша забота и наша печаль.

Нет сомнения, что лучшие из нас по обе стороны железного занавеса рано или поздно встретятся в одной антологии.

Любящий и уважающий вас
Сергей Довлатов

ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ

Сложные и несколько экстравагантные отношения крупнейшего советского поэта Владимира Маяковского с центральной героиней и вдохновительницей его поэтического творчества, многолетней возлюбленной и верным другом — Лилей Юрьевой Брик, а также с ее мужем, видным теоретиком футуризма Осипом Бриком, издавна привлекали внимание серьезных исследователей русской культуры и досужих сплетников, причем едва ли не в одинаковой степени.

В сознании почитателей и соратников Маяковского, друзей и единомышленников Лили и Осипа Бриков — этот «любовный треугольник» был отважным революционно-бытовым экспериментом, попыткой создания новых, невиданных в истории отношений, свободных от ревности, мещанского благополучия и обветшалой буржуазной морали.

Официальное же советское культуроведение не может рассматривать эту связь иначе, как пример грязной декадентской безнравственности и авангардистского упадничества.

В первом случае любовная история Маяковского превращается в идеализированный футуристический миф, в котором ретушируются теневые и драматические стороны личной жизни поэта, официальная же советская версия (в той мере, в какой

она предана гласности), мягко выражаясь, грешит неточностями.

Давняя антипатия к Лиле и Осипу Брикам со стороны функционеров от искусства, точнее — отвлечение к их роли в жизни Маяковского, объясняется несколькими достаточно ясными факторами. Отношения с Лилей Юрьевной и ее мужем разрушают бронзовый монумент поэта революции, выявляют истинный психологический и творческий облик Маяковского, не укладывающийся в узко-идеологические рамки толкования его личности.

Кроме того, официальная концепция Маяковского-реалиста требует, по возможности, оторвать его от футуристического окружения, выделить из пестрой литературной среды 20-х годов, в которой Лиля и Осип Брик занимали достойное и яркое место.

Именно поэтому в начале семидесятых годов был закрыт музей в Гендриковском переулке, где Маяковский и Брики проживали совместно с 1926 года и где 14 апреля 1930 года раздался выстрел, оборвавший жизнь поэта, и вместо этого был открыт новый музей в переулке Серова (бывший Лубянский проезд), где у Маяковского была рабочая комната, иначе говоря — творческая мастерская. Ведь жизнь Маяковского в одной квартире с возлюбленной и ее официальным мужем с точки зрения советской (да и не только советской) морали — декадентская авантюра, способная горько разочаровать восторженных поклонников трибуна революции.

В этом смысле хочется процитировать несколько строк из послесловия к одному из бесчисленных изданий Маяковского в СССР:

«Истоки новаторства Маяковского не в футуризме, а в его связи с коммунистической партией, с пролетарским освободительным движением в России...»

Такого рода литературоведам нет никакого дела до того, что Маяковский действительно был крупнейшим российским футуристом, громогласно деклариовавшим соответствующие идеи и подписавшим соответствующие манифесты, но при этом ни одного дня не состоял в коммунистической партии.

Обожествление и монументализация поэта в СССР нарастают с каждым годом, и сейчас эта громоздкая безжизненная фигура следует в черед других гранитных, бронзовых и гипсовых идолов непосредственно за Владимиром Ильичом Лениным и Максимом Горьким. Единственным тормозом и препятствием на пути создания этого гигантского лживого мифа служит реальная биография Маяковского, сложного и противоречивого художника и человека, истинные детали которой все реже всплывают на поверхность в СССР и все полнее отражаются в исследованиях западных и русских славистов за пределами Союза.

Одним из самых значительных трудов на эту тему представляется мне книга известного шведского филолога Бенгта Янгфельдта — «Владимир Маяковский и Лиля Брик. Переписка».

Янгфельдту удалось собрать ценнейшие материалы, послужившие основой для содержательного предисловия и пространных, четко аргументированных комментариев, не говоря о множестве неопубликованных в Союзе писем и телеграмм:

в книге воспроизводится 416 документов, из них — 88 ранее неизвестных и 37 впервые опубликованных полностью писем и телеграмм Маяковского, а также 194 обращения Лили Брик к поэту и 5 телеграмм к нему Осипа Брика.

Кроме того, Бенгт Янгфельдт проделал трудоемкую исследовательскую работу, связанную с установлением мест проживания Маяковского и супругов Брик, поскольку официальным литературоведением, вытесняющим Брика из биографии Маяковского, были уничтожены следы их территориального сожительства вплоть до ретуширования старых фотографий.

Янгфельдт представляет во введении и комментариях огромное количество фактов, включая адреса и мелкие бытовые детали, ведь лишь скрупулезное описание быта может пролить свет на истинные взаимоотношения всех участников драмы.

Знакомясь с материалами Янгфельдта, мы убеждаемся, что близость Маяковского с Лилей и Осипом Брик не была ни футуристической идиллией, ни обывательской «любовью втроем». Янгфельдт доказывает, что супружеские отношения Лили и Осипа Брик прекратились до того, как Лили Юрьевна стала возлюбленной и гражданской женой Маяковского. Однако все трое были уже так тесно связаны и творчески, и житейски, так явно дополняли друг друга и были друг другу столь необходимы, что они решили никогда не расставаться, испытывая полное взаимное доверие и чувство любви в более глубоком, христианском (если такое выражение применимо к атеистам) значении этого слова.

Долголетняя связь Маяковского с Лилей Брик никогда не была простой и безоблачной. Максима-лист во всем, поэт обожествлял свою возлюбленную, неустанно обращался к ней в стихах, буквально не мог без нее жить. Его потребность в любви, поддержке, нежности — граничила с безумием. Давайте предоставим слово самой Лиле Брик:

«Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты...»

Лилия Юрьевна также питала к Маяковскому сильное чувство, но оно было гораздо более сдержанным и трезвым, чем его безумная страсть, и не заслоняло от нее всей жизни с обычными человеческими заботами и радостями, и в этом драматическом противоречии Бенгт Янгфельдт усматривает один из решающих факторов, побудивших Маяковского к самоубийству в возрасте 37 лет и в расцвете славы, к самоубийству, которое все еще остается одной из трагических загадок нашей культурной истории.

ЧЕРНЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ

Фельетон

Раскрываю газету «Комсомольская правда». Внимание останавливает рубрика «Встреча для вас». Это значит — беседа с каким-то замечательным человеком. Любопытно...

Корреспондент задает человеку вопрос:

— Мне хотелось бы спросить вас вот о чем. Мы часто говорим и пишем о ленинском стиле работы, о ленинских нормах отношения к людям и делу. Какие черты этого стиля наиболее близки вам, какие из них представляются вам самыми современными именно сейчас, сегодня?

Замечательный человек отвечает:

— Неоценима роль Ленина в создании партии. Ему принадлежит гениальная идея образования СССР. А идея об электрификации страны!.. Ленин был необыкновенно современный по духу человек. Интересовался всем новым, и если это новое сулило пользу народу, он немедленно требовал внедрения новшества в жизнь. Я думаю, что надо читать Ленина и больше знать о его жизни. Ленинская биография — это кладезь ответов на множество вопросов.

А теперь, дорогие читатели, угадайте, кому принадлежат эти раболепные, избитые, почти юмористические в своем идейном рвении слова? Слова, которые сейчас не произнес бы от души ни один квалифицированный рабочий, ни один разумный

грамотный крестьянин, не говоря о скептически настроенной интеллигенции.

Так чей же это жалкий, верноподданнический, угодливый лепет? Может быть, дали высказаться какому-нибудь уцелевшему сталинисту, отставному майору лагерной охраны или, наконец, только что восстановленному в партии Молотову?

Ничего подобного. Этот унижительный лакейский гимн пропел не кто иной, как Валентин Петрович Катаев, один из самых популярных и (будем объективны) один из самых талантливых русских прозаиков наших дней.

Что же заставило этого почтенного, знаменитого, богатого, европейски образованного человека произнести слова, от которых смущенно зарделись бы «и финн, и ныне дикий тунгус, и другие степи — калмык»?

Может быть, Катаева пытали, угрожали ему психбольницей, держали в качестве заложников ближайшую родню? Убежден, что ничего подобного не было и быть не могло. Все-таки 37-й и 49-й годы остались позади, и сталинские нравы во всей их кровавой полноте — невозстановимы.

Поэтому нет сомнения в том, что свою холуйскую тираду Катаев произнес добровольно, от чистого сердца...

Когда литературные чиновники, все эти софроны, вороновы, грибачевы, эльяшевичи, которых никто не читает и которые в любой другой стране вынуждены были бы зарабатывать на жизнь нелегким физическим трудом, когда ОНИ изощряются в партийном рвении, — это более или менее понятно и естественно.

Когда молодой писатель среднего дарования пробивает себе дорогу в официальную литературу и механически произносит с трибуны верноподданнические речи, цинично подмигивая сидящим в зале приятелям, — это в известной мере доступно пониманию.

Но Катаев, общепризнанный талант, прозаик европейского уровня, глубокий старик, достигший всех мыслимых высот признания и благополучия, — что могло заставить его пойти на такое всенародное унижение?!

Поневоле начинаешь задумываться о таинственном феномене этой личности...

Когда Бориса Пастернака исключали из Союза советских писателей, многие видные писатели сказались больными, чтобы хоть не участвовать в этом постыдном мероприятии, если уж не хватает мужества голосовать против исключения.

Катаев же всегда действовал строго противоположным образом. Когда из того же Союза писателей исключали Лидию Корнеевну Чуковскую, Катаев приехал и голосовал за исключение, хотя был действительно и весьма серьезно болен, причем настолько, что любое сильное переживание, по мнению врачей, могло иметь для Катаева самые роковые последствия.

Но Валентин Катаев не испытал сильных переживаний, спокойно проголосовав за гражданскую казнь дочери Чуковского, ближайшей подруги Ахматовой, талантливой писательницы и журналистки...

Я долго размышлял над загадкой личности Катаева. Какие силы заставляют этого человека добро-

вольно совершить то, от чего всеми правдами и неправдами уклоняются другие, причем — не диссиденты, не герои, а нормальные рядовые люди, которые не желают быть пугалом в глазах окружающих.

Я пребывал в недоумении, пока один из друзей-литераторов не объяснил мне.

— Пойми, — сказал он, — Катаев действует искренне. Когда он участвует в травле Солженицына или Сахарова, он действует, как это ни жутко звучит, по велению сердца... Сделай опыт, — продолжал мой друг, — поставь себя на место Катаева. Ведь он рассуждает примерно так: «Литературных дарований у меня от природы не меньше, чем у Солженицына. Во всяком случае наши таланты соизмеримы. При этом Солженицын лет восемь сидел в тюрьме, переболел раком, писал что ему вздумается, клал на все литературное начальство, и в результате — у него мировая известность, Нобелевская премия, поместье в Вермонте, и фотографии этого типа красуются на первых страницах западных газет, а я, Катаев, всю жизнь служил режиму, коверкал свои произведения, наступал на горло собственной песне, сочинял всякое конъюнктурное барахло вроде романа «Время, вперед!», и в результате, что у меня есть? Коллекция зажигалок, машина и дача в Переделкине, которую в любой момент начальство может отобрать!.. Вот и подумай, — продолжал мой друг, — как ему не ненавидеть Солженицына?! Ведь это явная несправедливость! Солженицыну, понимаешь, все, а мне, Катаеву, ничего?!. Так я хотя бы в «Правде» оттяну его как следует...

Вероятно, мой друг близок к истине. Катаев с юности был циничным прагматиком. Еще Иван

Алексеевич Бунин, цenia дарование молодого Катаева, с изумлением восклицал, пораженный его воинствующей бездуховностью:

— Господа, этот парень сделан из конины!..

К чему же пришел Валентин Катаев на склоне лет? Все материальные льготы, которые он вырвал у режима ценою бесконечных унижений, измен и предательства, доступны в западном мире любому добросовестному водопроводчику! И наверное, все чаще рвется из глубины души этого старого, умного, талантливового, циничного и беспринципного человека отчаянный вопль:

— За что боролись?! За что ЧУЖУЮ кровь проливали?!

И гробовая тишина — в ответ.

ЗАПИСКИ ЧИНОВНИКА

В конце шестидесятих годов художник Вагрич Бахчанян, в ту пору сотрудничавший в «Литературной газете», произнес ядовитую шутку, которая с быстротой молнии (а точнее — с быстротой удачной шутки) облетела всю страну. Перефразируя слова известной песни, Бахчанян воскликнул:

— Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!

В основе этой крылатой фразы лежит необъяснимый парадокс: как удалось Францу Кафке, еврей по крови, чеху по рождению и месту жительства, немцу по языку и культуре, как удалось ему в своих мрачных, сюрреалистических романах и новеллах с такой художественной прозорливостью различить черты грядущего реального социализма? Как он сумел в своих пророчествах так верно изобразить социальные механизмы тоталитарного государства задолго до его возникновения?

Я позволю себе воспроизвести небольшой отрывок из романа Франца Кафки «Процесс», написанного в 1918 году, — фрагмент из речи на суде центрального героя, а вы, дорогие читатели, задумайтесь: разве не мог бы подписаться под этими словами едва ли не каждый правозащитник, репрессированный в Советском Союзе за последние годы.

«Нет сомнения, — говорит Иозеф К., — что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за

этим арестом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стражей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях штатом служителей, писцов, жандармов и других помощников, а может быть даже и палачей — я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и затевать против них бессмысленный и по большей части — как, например, в моем случае — безрезультатный процесс. Как же тут, при абсолютной бессмысленности всей системы в целом, избежать самой страшной коррупции чиновников?..»

И так далее.

Согласитесь, что такая речь могла быть произнесена и Юрием Орловым, и Александром Гинзбургом, и Анатолием Щаранским.

Франц Кафка, по мнению многих, — одна из трех величайших фигур в мировой литературе двадцатого столетия, но если два других титана — Джойс и Пруст — произвели революцию, главным образом, в области формы, эстетики, то проза Франца Кафки, суховатая, почти бесцветная, лишенная малейших признаков эстетического гурманства, интересует нас прежде всего своим трагическим содержанием, причем именно в нас она вызывает столь болезненный отклик, ведь именно для нас фантазмагорические видения Кафки обернулись каждодневной будничной реальностью...

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!..»

Биография Франца Кафки не богата внешними событиями. Родился он 3 июля 1883 года в Праге, окончил немецкую гимназию, затем изучал право и слушал лекции по истории искусств и германистике. Затем два года проходил стажировку в адвокатской конторе и в Пражском окружном суде. В 1908 году слушал лекции по производственному страхованию и скоро поступил на службу в полугосударственную организацию, занимающуюся страхованием производственных травм. Невзирая на степень доктора юриспруденции и старательность в исполнении служебных обязанностей, Кафка до конца занимал там лишь скромные и низкооплачиваемые должности. В 1917 году он заболел туберкулезом и в дальнейшем работал с перерывами, а в 1922 году был вынужден уйти на пенсию. Еще через год Кафка предпринял давно уже задуманное «бегство» в Берлин, где намерен был существовать в качестве свободного художника, но резко ухудшившееся состояние здоровья заставило его вернуться в Прагу. 3 июня 1924 года в санатории Кирлинг под Веной Франц Кафка скончался.

Разумеется, Кафка не выдумал и не выбрал для себя такую скромную биографию, но если бы она была иной, то и Кафка был бы совершенно другим явлением — ведь писатель и его биография нерасторжимы. Отсутствие внешних потрясений в личной жизни Франца Кафки с избытком возмещается неослабевающим напряжением «приключений» внутренних.

Наиболее ясное представление о глубокой и мучительной внутренней жизни писателя дают нам,

в первую очередь, не его художественные творения, а вещи, приближающиеся к форме документа, — «Дневники» и пространное «Письмо к отцу», не вошедшие в знаменитый советский однотомник и выпущенные недавно под одной обложкой нью-йоркским издательством «Аргус».

Всякий писательский дневник — это рассказ о себе и о людях, рассказ художника о встречах с окружающим миром, комментарий к этим встречам, их разъяснение, истолкование. Дневник Франца Кафки — преимущественно рассказ о встречах с самим собой. Там содержится множество литературных набросков или вариантов позднее написанных вещей, подробно пересказываются сны или даже видения наяву. Целые страницы посвящены жалобам на состояние здоровья, на терзающие писателя неясные чувства беспокойства и вины, на невозможность или неспособность творить. С особым волнением мы читаем о том, какого мучительного напряжения и труда стоило писателю каждое слово и какие олимпийские требования предъявлял он к собственному творчеству, что и привело к трагическому пункту в его завещании. Согласно этому условию, душеприказчик и друг Кафки, писатель Макс Брод, должен был после его смерти уничтожить архивы, письма, дневники и все неопубликованные при жизни произведения, составляющие большую часть литературного наследства Кафки. Достаточно сказать, что к этому аутодафе был приговорен и лучший роман писателя «Процесс». К счастью, Макс Брод нарушил волю покойного, взял на себя этот грех, но зато обогатил мировую литературу несколькими признанными шедеврами.

Франц Кафка умер 60 лет назад, задолго до Маутхаузен, Трелинок, Дубровлагов и показательных процессов, задолго до возникновения гестапо и КГБ, но его гениальная прозорливость, невероятная интуиция помогли создать такие картины и образы, вглядываясь в которые нам только и остается, что повторять зловещую шутку Вагрича Бахчаняна:

«Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...»

ПАМЯТИ КАРЛА ПРОФФЕРА

Газета «Нью-Йорк таймс» поместила траурное сообщение: в университетском городке Анн Арбор, в штате Мичиган, скончался от рака видный ученый-славист, руководитель издательства «Ардис», специализирующегося на русской литературе, — Карл Проффер. Ему было 46 лет.

В начале семидесятых годов американская славистика пережила если не революцию (мы, советские беженцы, употребляем это слово крайне осторожно), то во всяком случае претерпела глубокие структурные изменения. Связаны они были с началом деятельности Карла Проффера и его жены Эллендеи, создавших и возглавивших в 1971 году издательство «Ардис». В течение нескольких лет «Ардис» буквально наводнил славистские кафедры, университетские библиотеки и русские книжные магазины Америки, Европы и Израиля недорогими изданиями произведений неофициальных и полуофициальных, замалчиваемых и полузабытых советских авторов. Разумеется, главная заслуга «Ардиса» не в количестве выпущенных книг, а в тех принципах отбора и в тех критериях, которыми руководствовались в своей деятельности Карл и Эллендея Профферы.

Если мы заглянем в учебники, справочники и антологии советской литературы, выпущенные в Америке до семидесятого года, то за редкими

исключениями мы не обнаружим в них тех прозаиков и поэтов, которые по праву составляют гордость нашей словесности: Гумилева, Ахматову, Мандельштама, Цветаеву, Ходасевича, Платонова, Бабея, Зощенко, Булгакова и многих, многих других.

Долгие годы американская славистика просто-душно ориентировалась на советские литературоведческие источники, и потому история нашей культуры представлялась искаженной. Если бы мы очертили ее пунктиром, то получилась бы примерно такая, разумеется, условная схема: от Чехова, Леонида Андреева и Горького — через Алексея Толстого, Леонова, Шолохова, Федина — к Паустовскому, Каверину и Гранину — вплоть до Солоухина и Евтушенко. Таким образом, за пределами этой схемы оказывалось едва ли не все самое ценное, подлинно художественное и одухотворенное, все то, что десятилетиями искоренялось в советском государстве как идейно чуждое, проникнутое буржуазными настроениями, выражающее интересы кулачества и других реакционных слоев общества... Короче говоря, все то, что мы любим и ценим в русской литературе двадцатого столетия.

За годы существования издательства «Ардис» Профферы выпустили более 500 книг, и сейчас именно продукция «Ардиса» лежит в основе всех серьезных справочников, учебников и пособий, которыми пользуются современные американские и западные слависты. Ни один университетский педагог не может сейчас построить курс своих лекций, игнорируя имена Мандельштама, Булгакова или Зощенко, а также лучших современных

прозаиков и поэтов — Владимирова, Войновича, Аксенова, Битова, Искандера, Бродского.

В деятельности «Ардиса» прослеживается единый антологический принцип: книги этого издательства, при всем их разнообразии, последовательно соответствуют общей задаче — воссоздать реальный русский историко-литературный процесс от самых его истоков до наших дней.

В «Ардисе» давно идет работа над десяти томным собранием сочинений Михаила Булгакова, самым представительным изданием трудов этого, может быть, самого крупного русского прозаика XX столетия. Надо отметить, что издание снабжено богатым научно-библиографическим аппаратом, что потребовало от «Ардиса» особых усилий ввиду неприкосновенности советских архивных хранилищ.

«Ардисом» издано 16 русских книг Набокова, ни одно из произведений которого не опубликовано у него на родине. Советская аудитория знакомится с произведениями этого «небывалого» (выражение Солженицына) писателя по книгам, вышедшим в «Ардисе» и попадающим в Россию таинственными и, увы, не очень многочисленными каналами.

Одним из главных достижений «Ардиса» стал выпущенный четыре года назад сенсационный альманах «Метрополь», составителями которого были лучшие московские прозаики — Аксенов, Битов, Искандер. В «Метрополе» соединились признанные и непризнанные литераторы, официальные и неофициальные, молодые и зрелые, под единой обложкой удалось собрать лучшие силы неподцензурной России.

После выпуска альманаха «Метрополь» Карл Проффер лишился возможности бывать в СССР — советские власти больше не давали ему визы. Но эта мера оказалась неэффективной: в «Ардис» продолжают стекаться неофициальные рукописи из-за железного занавеса, произведения авторов, которые связывают с Карлом Проффером все свои надежды...

Мне хотелось бы рассказать о том, чем был Проффер для нас, молодых ленинградцев, в начале семидесятых годов.

...Бесславный конец хрущевской оттепели, газеты, журналы, альманахи наполнены тусклой, мертвящей халтурой, перспективы молодого литератора ничтожны, будущее рисуется в мрачном, трагическом свете.

Тогда мы впервые услышали имя Карла Проффера. Знакомые рассказывали о молодом американском профессоре, начинающем издателе, выпускающем русские книги, говорили о его встречах с Ахматовой и о дружбе с Бродским.

Вскоре Проффер стал легендарной фигурой. Появилась новая инстанция — «Ардис», появился новый вариант литературного самоутверждения — издаваться ТАМ, на Западе, у Карла Проффера.

Через некоторое время в «Ардисе» на русском и английском языках была издана моя первая книга. Скажу без кокетства: издание этой книги тогда значило для меня гораздо больше, чем могла бы значить Нобелевская премия — сейчас. В моей жизни появился какой-то смысл, я перестал ощущать себя человеком без определенных занятий. Не будет преувеличением сказать, что Карл Проф-

фер в те годы буквально спас мне жизнь, удержал от самых безрассудных, отчаянных и непоправимых шагов.

Оказавшись в Америке, я ближе узнал Карла Проффера. Это был красивый человек, настоящий мужчина, умный, спокойный, талантливый, работающий и дальновидный. У него была любимая жена, трое детей, а главное — историческая роль — служение русской культуре...

Три года назад друзей и знакомых Карла Проффера поразило страшное известие. Врачи обнаружили у него рак, причем в тяжелой, безнадежно запущенной стадии. Три года Карл сопротивлялся болезни, выказав беспримерное мужество и силу духа, не прекращая напряженной творческой работы, обогатив за это время библиотеку «Ардиса» новыми ценными изданиями.

Все мы знали, что Карл обречен, но все-таки успели привыкнуть к надежде на чудо. И вот — звонок из Мичигана, траурное сообщение в «Нью-Йорк таймс». Стало известно, что в последние недели жизни Карл Проффер испытывал невыносимые страдания.

В одном из своих выступлений Карл Проффер говорил:

«Существует только одна русская литература, которая что-то значит. Она расположена по всему земному шару без каких бы то ни было границ, за исключением синтаксических. Несмотря на целые леса, срубленные для того, чтобы печатать марковых и бондаревых, они вряд ли заслужат сноски в истории русской литературы. Но истинные писатели, где бы они физически ни находились в мо-

мент осмысления, написания, фотографирования или публикации их работ, — эти писатели останутся, и лучшие из них даже будут процветать...

Представление о советском марксизме как о космическом воплощении Зла только усиливает его продолжающуюся власть. Однако существует и менее апокалиптический взгляд на СССР как на самую большую в мире „банановую республику“. Суеверная тарабарщина о силах Тьмы и об опасностях излишней свободы для индивидуумов — все это пораженчество. Когда русские прозреют, новая революция сможет произойти почти что за ночь. И тогда литературный мусор будет выметен. Ту литературу, которая останется после всего этого, можно будет определить только одним прилагательным — русская...»

Можно добавить, что в истории этой литературы имя американца Карла Проффера будет жить, пока существует на земле русский язык.

КРАСНЫЕ ДЬВОЛЯТА

В рассказе Георгия Владимова «Не обращайтесь, маэстро!», выпущенном отдельной книгой издательством «Посев» во Франкфурте, происходят события, с одной стороны вполне обыденные, и при этом — совершенно невероятные. Российский читатель воспримет их как полудокументальную бытовую хронику, а средний житель Запада увидит в этих событиях фантазмагорию на уровне Кафки, Орвелла или Замятина...

В квартире интеллигентных советских обывателей появляются незнакомые люди. Корректно потеснив хозяев и заняв одну из комнат, незваные гости приступают к выполнению своих таинственных обязанностей.

Хозяева (мать, отец и сын, от лица которого ведется повествование) возмущены, шокированы и готовы к протесту, и в то же время в действиях и манерах оккупантов чувствуется какое-то неясное право, заведомая безнаказанность и явное социальное превосходство.

О целях своего появления гости высказываются более чем туманно. Ситуация, в которой средний американец или, допустим, француз стал бы немедленно и по возможности с оружием в руках оборонять свое жилище, подавляет советских квартиросъемщиков заложенной в ней неотвратимостью и тем неведомым западному обывателю чув-

ством, которое проще всего выразить словами: «Значит, так надо...»

Жизнь идет своим чередом, оккупанты более или менее вежливы и даже любезны с хозяевами, если не считать того, что они категорически отказываются давать какой бы то ни было отчет в своих действиях на территории чужой квартиры.

Но вот ситуация несколько проясняется. В том же доме, в квартире напротив, проживает известный писатель-диссидент. Когда-то писатель был обласкан и возвеличен, но чем дальше, тем все более его творчество шло вразрез с канонами соцреализма, и, наконец, его рукописи отправились на Запад, где и увидели свет на многих языках, включая русский.

Результатом всего этого стали привычные тернии русского писателя, преданного родной культуре и своему народу и превращенного властями в конспиратора и заговорщика.

Таинственные личности, узурпировавшие чужую квартиру, оказываются функционерами КГБ, в их задачи входит слежка за писателем и его окружением, пресечение его контактов с иностранцами, а главное — попытки воспрепятствовать движению очередной его рукописи через таможенные кордоны.

Показательно, что в рассказе нет ни злодеев (хотя на всем его протяжении творится явное и безнакаzanное зло), ни героев и праведников (хотя одно из действующих лиц — писатель-диссидент — многострадальная жертва несправедливости). Георгий Владимов — мастер, и он замечательно подметил одну из чрезвычайно характерных особенностей нынешней карательной системы в России. Функционе-

ры КГБ почти не испытывают личной антипатии к писателю-диссиденту. Насколько им это доступно, они даже испытывают что-то вроде сострадания к нему, более того — цитируют неофициальные художественные тексты, с некоторым почтением говорят о друзьях писателя — Ахмадуллиной, Высоцком, Окуджаве. Но они — часть машины, функционеры, люди функции, а не чувства и долга. И потому их личные симпатии и антипатии не имеют равным счетом никакого значения. Следуя функции, они готовы, если понадобится, совершить любое злодеяние, не останавливаясь буквально ни перед чем. Более того, если бы они попытались выйти за пределы, диктуемые им функцией, карательная машина уничтожила бы их самих.

Владимов с редкой проницательностью воспроизводит, может быть, самую дикую и в то же время характерную черту нынешней советской действительности, а именно — тот сплав ужаса и скуки, обыденности и безумия, при котором самые естественные человеческие поступки вызывают ощущение чуда, а самые фантастические события воспринимаются как повседневная рутина.

Так постепенно норма становится исключением из всех правил, а трагический гротеск приобретает будничные и привычные очертания.

В рассказе дан тонкий психологический анализ поведения хозяев (или бывших хозяев) квартиры, в которой происходит действие. Если сначала молодой благополучный ученый, от лица которого ведется рассказ, ищет возможности предупредить писателя о слежке и грозящей ему опасности, то затем, шаг за шагом, взвешивая меру риска, отказывается от

этой идеи и более того — начинает испытывать досаду по отношению к человеку, причиняющему ему, аспиранту, будущему кабинетному ученому, столько душевного неудобства.

Так Владимовым подмечена еще одна характерная, увы, черточка нашей жизни — создание блуждающей, уже не связанной с традиционными ценностями нравственной шкалы, подвижные мерки которой всегда соответствуют нашим колеблющимся, уступчивым и слабым натурам...

Рассказ написан легко, изящно, со свойственным Владимову юмором и без малейшего нагнетания ужасов, и все-таки, читая его, испытываешь чувство обреченности и бессилия.

В образе писателя-диссидента использованы реальные черты биографии самого Владимова, который был популярным советским писателем, с каждым следующим романом все острее сталкивался с цензурой, подвергался газетно-журнальной травле, долгие годы не издавался в Союзе, приобретал тем не менее мировую известность, героически противостоял нажиму со стороны КГБ и, наконец, под влиянием опасности, грозившей его жене Наталье Кузнецовой, выехал на Запад.

Мы знаем, что Владимов в безопасности, что «маэстро» продолжает работу, и убеждаемся в том, что его приезд из страны абсурда был не только физическим спасением, но и единственной возможностью защититься от безумия.

ДОСТОЕВСКИЙ ПРОТИВ КОЖЕВНИКОВА

Недавно московское радио передало драматическое сообщение корреспондента ТАСС из Нью-Йорка. Журналист рассказывает о том, как он побывал в крупнейшем книжном магазине «Барнс энд Нобл» на углу 48-й стрит и 5-й авеню и почти не обнаружил в этом гигантском хранилище произведений русской и советской классики. Лишь после долгих консультаций с продавцами ему удалось разыскать несколько томов Толстого, Достоевского и Тургенева, а в ходе бесед с посетителями магазина у него возникло ощущение, что средний американец оскорбительно мало знает о русской литературе.

Далее корреспондент ТАСС, ссылаясь на данные журнала «Паблишерс уикли», утверждает, что в Америке издано очень мало книг советских писателей и к тому же — ничтожно малыми тиражами.

В заключение корреспондент приводит внушительные данные, свидетельствующие о жадном внимании советских читателей к американской литературе, называет астрономические цифры тиражей, перечисляет множество различных и весьма достойных издательских начинаний в СССР.

Начнем с того, что в этом сообщении корреспондента ТАСС более или менее соответствует реальной действительности.

Конечно, американцы в среднем, как я предполагаю, читают меньше, чем советские люди, и это вполне естественно. Возможности американского досуга так велики и разнообразны, от бесконечных форм туризма до неисчислимых клубов и учреждений шоу-бизнеса, что книга, общение с книгой — лишь один из пунктов в длинном списке самых заманчивых возможностей, в то время как формы советского досуга крайне ограничены.

Существенно еще и то, что американцы, по традиции и по статистике, больше интересуются собственной литературой, чем творчеством зарубежных авторов. Американская жизнь так динамична и разнообразна, в ней ежедневно разрешается такое количество проблем, возникает такое количество сенсаций, что среднего американца в первую очередь притягивают новинки собственной культуры. Однако, по мнению Ашбея Грина, ведущего редактора издательства «Кнопф», к русской культуре американцы всегда проявляли интерес, во всяком случае более заметный и явный, чем к французской, немецкой или итальянской.

В Америке есть своя замечательная интеллигенция, которая оценила и музыку Шостаковича, и холсты Кандинского, и фильмы Параджанова, и прозу Бабея, Булгакова или Паустовского.

Тем не менее в общем потоке американской книжной продукции переводы русской классики и тем более — произведений советской литературы занимают довольно скромное место.

Почему?

В Союзе издательская политика жестко определяется идеологической конъюнктурой. Книги со-

знательных, идейно выдержанных писателей выходят заведомо определяемыми громадными тиражами, принося авторам ощутимые материальные блага. Творчество же несознательных, идейно чуждых писателей игнорируется, замалчивается, и к ним то и дело применяются самые жесткие воспитательные меры.

В Америке тоже есть конъюнктура, но не идеологическая, а финансовая, то есть конъюнктура рынка, спроса.

Разумеется, то и дело выходят здесь книги, не рассчитанные на массовый интерес, делается это из соображений престижа или из любви к подлинному искусству, но основной поток американской книжной продукции регулируется, повторяю, конъюнктурой рынка.

Лучшие из советских писателей публиковались на Западе в переводах и находили здесь благодарный читательский отклик. Я не могу привести здесь огромный список, назову лишь самые известные имена — Шолохов, Федин, Каверин, Симонов, Панова, Гранин, Трифонов, Рытхейу, Искандер, Окуджава. Даже Панферов, автор чудовищного романа «Бруски», издавался в Америке в пору увлечения леволиберальными идеями. Не говоря о Горьком, Алексее Толстом, Макаренко, Сейфулиной, Форш...

Если завтра американские редакторы и литературные агенты с их профессиональной репутацией вдруг почувствуют, что книги Чаковского, Маркова, Кожевникова и Пикюля могут иметь читательский спрос, произведения этих авторов будут немедленно изданы, и никакие идеологические причины не смогут этому помешать.

Я не уверен, что конъюнктура рынка — идеальный механизм издательской политики, но в массе этот принцип оказывается плодотворным, а уж в сравнении с идеологической конъюнктурой и рыночная ориентация представляется мне верхом духовности.

Чтобы нашим читателям легче было представить себе рыночные механизмы в издательском деле, им достаточно вспомнить так называемые книжные толчки, нелегальные центры книжной торговли в укромных закоулках Москвы и Ленинграда, где литературным произведениям возвращается их реальная ценность и стоимость, где сознательные официальные советские классики идут по рублю, а идейно чуждые «буржуазные попутчики» вроде Булгакова — рублей по тридцать или сорок.

Не согласен я и с тем, что в Советском Союзе так уж полно и объективно представлены в переводах все крупные западные писатели. Десятилетиями замалчивалось в СССР творчество Джона Дос-Пассоса, Генри Миллера, Филиппа Рота, Эзры Паунда. Любимец советской публики Говард Фаст перестал издаваться в СССР, как только вышел из рядов американской компартии. Да и у популярных в СССР — Воннегута, Стайрона, Нормана Мейлера, Джонса, Трумэна Капоте — изданы лишь те произведения, в которых они предстают как носители леволиберальных тенденций.

О чем вообще говорить, если русский по происхождению Владимир Набоков, ставший классиком американской литературы, до сих пор не опубликован на родине, а Венедикт Ерофеев, живущий в Москве и не напечатавший там ни единой строч-

ки, публикуется в престижном американском издательстве «Таплингер»...

И последнее. Насколько мне известно, корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке с недавнего времени назначен мой старый университетский знакомый Сергей Байбаков, человек несколько легкомысленный, но разумный. Если он позвонит мне, заглянув в нью-йоркскую телефонную книгу, я с удовольствием похожу с ним по хорошим книжным магазинам (кстати, лучший магазин фирмы «Барнс энд Нобл» расположен не на 48-й, а на 18-й стрит), и, таким образом, мы сможем приобрести самые замечательные книги на всех языках мира, включая — русский.

В ЖАНРЕ ДЕТЕКТИВА

Издательство «Эрмитаж» в Мичигане выпустило новую книгу Марка Поповского «Дело академика Вавилова». Получив экземпляр, я начал довольно рассеянно его перелистывать — это была не первая знакомая мне работа о судьбе великого ученого-генетика. В начале одной из глав мое внимание остановил такой диалог между следователем НКВД (с явно литературной фамилией Хват) и арестованным незадолго до этого академиком Вавиловым:

«— Вы арестованы как активный участник антисоветской вредительской организации и шпион иностранных разведок. Признаете ли вы себя виновным?»

— Нет, не признаю. Шпионом и участником антисоветских организаций я никогда не был. Я всегда честно работал на пользу Советского государства...»

Далее говорилось:

«Этимися словами утром 12 августа 1940 года в Москве, во внутренней тюрьме НКВД начался первый допрос академика Вавилова»...

Читая это, я невольно думал: Поповский — опытный литератор, видный публицист, он создал добротную и талантливую монографию, документальное повествование с беллетристическими вкраплениями, реальные фигуры и подлинные

события будут искусно оттенены и дополнены вымышленными персонажами и эпизодами... Все соответствует законам жанра... Нечто из «Жизни замечательных людей».

Но чем глубже я вчитывался в текст, тем настойчивее возникало ощущение чуда: Поповский не изображал и не описывал, чередуя факты с рассуждениями и гипотезами, Поповский цитировал, подчеркиваю — ЦИТИРОВАЛ жуткие и строжайше засекреченные документы из архивов НКВД, материалы следственного дела «государственного преступника Вавилова» за номером 1500, ссылаясь на подлинные тюремные и лагерные акты, вплоть до акта о смерти Вавилова от 26 января 1943 года, приводил копии секретных экспертиз, воспроизводил дословно показания доносчиков, стукачей и лжесвидетелей, приобщенные к агентурному досье ученого, называл реальные фамилии мерзавцев-коллег и функционеров НКВД, которые дружно загубили первого агронома страны и многие из которых благополучно доживают свои дни. (И между прочим, следователь с литературной фамилией Хват также оказался вполне реальной личностью — Алексеем Григорьевичем Хватом, полковником в отставке, ныне проживающим в ведомственном доме в Москве, по улице Горького, 41, квартира 88...)

Не будем говорить сейчас о гигантском объеме изученного Поповским материала, о сотнях найденных и опрошенных писателем людей, знавших и помнивших Вавилова, вплоть до его чудом уцелевших сокамерников, о распутанных автором бесчисленных клубках человеческих взаимоотношений, конфликтов, интриг...

Начнем с самого поразительного и невероятно-го — писателю удалось проникнуть в тайники, где несколько поколений душегубов бдительно хранят свои секреты, в тайники, к которым едва ли имеют свободный доступ рядовые члены Политбюро. Как же это могло случиться?!

Марк Александрович Поповский родился в 1922 году на Украине. Учился в Военно-медицинской академии, на фронте был медиком. После войны окончил филологический факультет МГУ и стал профессиональным литератором. В Союзе вышли 14 книг Марка Поповского, посвященных в основном деятелям науки.

Долгие годы Поповский принадлежал к числу так называемых прогрессивных советских писателей, которые хорошо изучили структуру пропагандистской системы и умело пользовались ее слабостями, чтобы, сохраняя внешнюю лояльность, рассказывать читателям о людях и фактах, насильственно вычеркнутых из нашей культурной истории.

Разумеется, Поповский ощущал на себе давление цензуры, ограничивался намеками там, где нельзя было говорить полным голосом, уступал нажиму бдительных редакторов и цензоров. Иначе его книги просто не увидели бы света.

В его официальных трудах не было (и не могло быть) всей правды, но все, что уцелело в книгах Поповского, было правдой, хоть и неполной, но зачастую многозначительной и горькой...

Я хорошо помню обстановку в редакции газеты «Советская Эстония», где мне довелось работать в начале 70-х годов. Если какие-нибудь материалы отдела науки казались редакционным цензорам не-

проходимыми, если герои научных очерков вызывали сомнение у начальства, сотрудники отдела бежали звонить в Москву Марку Поповскому, рассчитывая на его авторитет и связи, на его умение «проталкивать» сомнительные статьи и корреспонденции. Мы умоляли Поповского о содействии, и, надо сказать, во многих случаях таковая апелляция завершалась успешным результатом.

Однако лишь много лет спустя выяснилось, что официальная деятельность Поповского, его репутация чуточку строптивого, но в целом лояльного советского писателя была лишь частью его жизни, его человеческого и творческого облика. Укрываясь маской дерзкого, но в глубине души правоверного литератора, Поповский годами собирал материалы для своих главных книг, которые невозможно было издать в советских условиях, вел образ жизни конспиратора и заговорщика, правдами и неправдами получая доступ к самым секретным источникам, черпая из них якобы лишь косвенные штрихи и детали для своих официальных книг. Кто-то, может быть, назовет это «двойной жизнью» или «опасной игрой», а самые целомудренные читатели, возможно, усмотрят здесь и долю лицемерия, но так или иначе — лишь благодаря уму, ловкости, бесстрашию или хитрости Поповского (называйте это как угодно) в нашем распоряжении — многие подлинные и неопровержимые свидетельства, которые хранились, что называется, за семью печатями и казались советским властям — навеки похороненными... На этих документах построена лучшая книга Марка Поповского — «Дело академика Вавилова».

Рецензируя серьезные книги, написанные к тому же увлекательно и динамично, принято говорить, что они читаются наподобие подлинных детективов. Но книга Поповского «Дело академика Вавилова» и есть детектив в самом высоком и точном значении этого слова, детектив — как расследование преступления, преступления саморodka Лысенко и его мракобесов-коллег, которые при поддержке властей и самого Сталина загубили великого ученого и затормозили на долгие годы развитие нашей науки.

Конечно, детективным элементом не исчерпываются достоинства новой работы Поповского, которая представляет собой одновременно: классическую монографию, историко-социальный памфлет, психологическую драму. Читателя привлекает богатейшая научная эрудиция автора, его публицистический темперамент, сила художественных приемов.

В этой связи я хотел бы остановиться лишь на одном из качеств, чрезвычайно редко встречающемся в монографиях общего типа. Поповский не идеализирует своего героя, не делает из него мифического богатыря, рыцаря без страха и упрека, писатель рисует образ не только выдающегося ученого, но и живого человека со слабостями и недостатками, человека, то и дело принимавшего условия игры, навязанные ему партийными властями, образ тактика и стратега, прикрывающегося порой в интересах любимой науки ширмами советской пропагандистской риторики, но при этом всегда остававшегося в личном плане — честным, мужественным, благородным, а главное — преданным своему делу...

Предоставим слово одному из благодарных читателей нового произведения Марка Поповского:

«...Книга показывает истинное, не искаженное официальной ложью, лакировкой и полуправдой величие Николая Вавилова...»

И дальше:

«...Я сожалею, что не был знаком с этой книгой, когда Марк Поповский находился еще в СССР. Эти строки — дань моего уважения автору...»

Под этими словами стоит подпись академика Сахарова, прочитавшего книгу в самиздатской рукописи и переславшего свой отзыв на Запад летом 1978 года...

АНТОЛОГИЯ СМЕХА

Одним из величайших злодейств советской власти могло бы стать окончательное и полное уничтожение советской сатиры, неотделимой от классической русской литературной традиции. Бесчинства цензуры, тирания издательских функционеров, эпидемии газетно-журнальных разносов, директивы безумных вождей, бдительность и усердие тренированных редакторов низшего звена и, наконец — прямые репрессии со стороны ЧК-ГПУ-КГБ — все это неизбежно должно было привести к абсолютному вырождению русской сатиры.

И все же этого не произошло. Но не потому, что губители русской культуры опомнились и сдержали свои драконовы усилия. Вовсе нет. Разгадка чудодейственной жизнестойкости русской сатиры — в другом.

Обескровленная, гибнущая, но движимая великим инстинктом самосохранения, русская сатира тремя могучими эшелонами устремилась в подполье.

Часть ее растворилась в бытовом и политическом анекдоте, застольном устном рассказе, нашла себе приют в томительных очередях за второсортным мясом, возле пивных ларьков, на трамвайных остановках и в курилках бесчисленных НИИ.

Вторая часть воплотилась в расплывающиеся шуршащие листки Самиздата, которые передают-

ся из рук в руки до тех пор, пока они не превращаются в пыль. Если бы «настоящие» фабричные советские книги обладали душой и речью, они бы поведали нам, что каждая из них мечтает о подобной судьбе.

И наконец, третья часть самыми хитроумными путями, минуя таможенные кордоны, перенеслась на Запад и обрела долгую жизнь на хорошей капиталистической бумаге, под яркими глянцевыми обложками «тамиздатских» книжек.

Так именно на Западе были изданы лучшие вещи Замятина, Булгакова, Платонова, Войновича, Владимова, Аксенова, Гладилина, Синявского-Терца, Гарика-Губермана, Сагаловского, Камова-Канделя и многих, многих других мастеров горького, язвительного, беспощадного и очищающего смеха.

И вот недавно, впервые, если мне не изменяет память, лондонское издательство «Оверсис» (что наиболее точно переводится старинным русским словом «Заморье») выпустило в свет фундаментальную «Антологию юмора и сатиры послереволюционной России» в двух томах под редакцией Бориса Филиппова и Вадима Медиша.

Антология снабжена предисловием Бориса Андреевича Филиппова, одного из старейших и наиболее заслуженных деятелей русского литературного Зарубежья, благодаря усилиям которого именно на Западе вышли в свет наиболее полные собрания сочинений Ахматовой, Мандельштама, Гумилева и Клюева.

В этом предисловии автор тонко рассуждает о природе истинной сатиры как о реакции всего

живого, органичного и полноценного — на все механизированное, омертвевшее и безжизненное.

Филиппов убедительно доказывает, что марксистско-ленинская догма по сути своей исключает настоящую сатиру, хоть и пытается время от времени мобилизовать ее на борьбу с так называемыми пережитками прошлого.

Недаром, утверждает Филиппов, лучшие образцы сатиры послереволюционного периода созданы писателями, «несозвучными» советскому строю или даже тайно враждебными ему.

И хотя один из крупных партийных деятелей сталинской эпохи (критик Гусев-Драбкин) обронил в 1927 году слова о том, что нет еще в СССР «наших советских Гоголей и Салтыковых, которые могли бы с такой же силой бичевать наши недостатки», тем не менее, любая попытка советского сатирика вырваться из круга ничтожно мелких тем и явлений всегда была чревата для автора самыми грозными последствиями.

Не случайно так популярно было в народе четверостишие, приписываемое то Михаилу Светлову, то Юрию Олеше, то Зиновию Гердту, то Юрию Благову:

*Мы за смех, но нам нужны
подобрее Щедрины
и такие Гоголи, —
чтобы нас не трогали...*

Антология издана в двух солидных томах, и разделены в них материалы по принципу довольно условному, да иначе и быть не могло.

В первом томе с недвусмысленно розовой обложкой (кстати, оба тома талантливо оформлены

художником Андреем Краузе) представлены «советские писатели»: Замятин, Булгаков, Зощенко, Платонов, Ильф и Петров и другие, а второй том (с обложкой «безыдейного» голубого цвета) заполняют произведения писателей-эмигрантов: Ремизова, Тэффи, Саши Черного, Аверченко, Андрея Седых, Юрия Большухина, Абрама Терца и других.

Но ведь творческая биография таких писателей, как Замятин, Абрам Терц, Войнович, явно делится на два периода — советский и эмигрантский, а Булгаков и Платонов, например, хоть и оставались до конца жизни советскими гражданами, лучшие свои вещи опубликовали, тем не менее — в западных издательствах.

Да и так ли уж важны эти географические, паспортные различия?! Читая антологию смеха, составленную Филипповым и Медишем, убеждаешься еще раз, что смеяться умеют по обе стороны железного занавеса, а пока мы умеем смеяться, мы останемся великим народом.

ТРУДНОЕ СЛОВО

К сожалению, нет статистически точных данных о том, какое из слов в русском языке более или менее употребительно. То есть каждому, разумеется, ясно, что слово, например, «треска» употребляется значительно чаще, чем, допустим, «стерлядь», а слово «водка», скажем, гораздо обиходнее таких слов, как «нектар» или «амброзия». Но точных, повторяю, данных на этот счет не существует. А жаль.

Если бы такие данные существовали, мы бы убедились, например, что слово «халтура» относится к самым употребляемым в Советском Союзе. Причем употребляется это слово, как минимум, в двух значениях. В первом случае халтура — это дополнительная, внеочередная, выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во втором случае халтура — это работа, изделие, продукт труда, который выполнен быстро, недобросовестно, кое-как. В первом случае понятие «халтура» носит более или менее позитивный характер, во втором случае — негативный.

Популярность этого слова объясняется тем, что добросовестный труд в СССР все очевиднее переходит в разряд пережитков капитализма. Людям все труднее прожить на официальный заработок, отношение к работе становится все более циничным и потребительским; короче, советские граждане все упорнее охотятся за халтурой как за допол-

нительным заработком, а с другой стороны, все небрежнее и халатнее выполняют свои прямые обязанности на официальной работе. Таким образом, если употреблять слово «халтура» в одной фразе и при этом — в обоих значениях, то получится примерно следующее:

«У себя на работе я не работаю, а халтуру, а вечером, когда иду халтурить, я уже не халтуру, а работаю...»

За шесть лет в Америке мне довелось работать с несколькими переводчиками, причем весьма квалифицированными, совместно мы разрешили множество лингвистических проблем, вышли из множества словесных тупиков, но слово «халтура» по-прежнему вырастает каждый раз перед нами как непреодолимое препятствие. Я достаточно много с ним провозился, чтобы утверждать: такого слова или даже близкого к нему понятия в английском языке — не существует. Есть слово «трэш», что значит — мусор, дрянь, отход. Это слово употребляется по отношению ко всякому барахлу, к бездарным развлекательным пьесам, к примитивным коммерческим романам или аляповатым художественным полотнам. Есть слово «бэлони», что означает — ерунда, чушь, пакость. Есть выражение «чип-стаф», то есть — дешевое исполнение, дешевка, бросовый товар. А вот слово «халтура» в том значении, в каком употребляем его мы, бывшие советские граждане, в Америке не существует.

Означает ли это, что здесь, в Америке, нет рвачей или лентяев, олухов или тупиц, что никто здесь не нуждается в дополнительных заработках или не трудится спустя рукава? Ни в коем случае. Есть здесь,

конечно, и рвачи, и лентяи, и бездельники, не говоря о тупицах, а слова «халтура» — нет. Более того, я вынужден прибегнуть к парадоксальной формулировке: «халтурщики» в Америке есть, а слово «халтура» в американском лексиконе — отсутствует. Как же так?

Прислушайтесь, с каким выражением, с какой интонацией употребляет это слово российский мастеровой, художник-штукарь, или писатель, устремившийся в погоню за длинным рублем, то есть любой человек, занимающийся сознательной халтурой. Вы не увидите на его лице ни следов раскаяния, ни ощущения вины, ни гримасы стыда. Он говорит о своей халтуре с веселой гордостью, торжеством и подъемом, как будто идет на штурм мирового рекорда по штанге. Ведь ему предоставляется шанс, счастливая возможность обмануть государство (а иногда и своего знакомого), урвать шальные деньги, бессознательно отомстить неведомым высоким инстанциям за свое нищенское существование. Поэтому советский халтурщик изобавлен от комплексов, он весел и счастлив, как жаворонок.

В Америке тоже, как я убедился, хватает бездельников, хапуг и всяческих тунеядцев, но у них нет решительно никакой возможности торжествующе о себе заявить. Американский рвач, хапуга и бездельник может работать нерадиво, поспешно, но рано или поздно хозяин это заметит, вышвырнет лентяя с работы или резко сократит его жалованье. Американскому халтурщику не до смеха, он всеми силами старается быть похожим на добросовестного, квалифицированного работника.

Означает ли это, что в Америке нет дрянной мебели и посуды, безвкусной одежды, ненадежных телевизоров и магнитофонов, разваливающейся обуви? Все это есть, и, увы, в неограниченном количестве.

Вы заходите, скажем, в магазин радиотоваров. Перед вами стереоустановка за 800 долларов, сделана в Японии или в Западной Германии, а рядом проигрыватель за сотню, изготовленный в Гонконге. И по цене и по марке Гонконга вам становится ясно, что это — типичный «чип-стаф», дешевка, бросовый товар. Такой агрегат может приобрести школьник или бедная старушка, но вам, поклоннику Бетховена и Моцарта, он не подходит. Значит, надо выложить 800 долларов или дожидаться головокружительной распродажи, а иначе вы станете владельцем дешевой, ненадежной, хрупкой вещи. Это — «чип-стаф», но это не халтура в том значении, которое мы привыкли вкладывать в это слово.

И так — во всем: в сфере торговли, обслуживания, в области культуры. Вас никто не обманывает, вы видите цену, вы видите марку, а значит, вы можете судить о качестве. Должен заметить, что подлинное качество в Америке стоит не дешево, но именно этот расход, как никакой другой, себя оправдывает.

Что же касается трудностей литературного перевода, то в следующий раз, напорвшись на слово «халтура», я предложу переводчику сделать такую беспомощную сноску:

«Загадочное, типично советское, неведомое цивилизованному миру явление, при котором низкое качество является железным условием высокого заработка».

ПАПА И БЛУДНЫЕ ДЕТИ

Эрнест Хемингуэй несомненно входит в когорту самых крупных прозаиков XX столетия, но его популярность в Советском Союзе, его роль в нашей общественной жизни объясняется и обуславливается не только и не столько качеством его художественного дара. Многие писатели, как американские, так и европейские, вполне соизмеримые по таланту с Хемингуэем, — Стейнбек, Вулф, Томас Манн или Генрих Бёлль, — тоже издавались по-русски в безукоризненных переводах, тоже были объектами литературно-критических исследований, тоже пользовались широкой известностью, но ни об одном из них, я уверен, не могла бы быть написана книга, подобная той, которую выпустила в издательстве «Ардис» Раиса Орлова (*Орлова Р. Хемингуэй в России. Анн Арбор, 1985*).

Хемингуэй в России воспринимался не только как выдающийся писатель и не только как писатель и человек с героической и яркой биографией, но и как своего рода абстракция, утвердившаяся в нравственной, эстетической и даже бытовой сферах. Книги Хемингуэя были неизменной, я бы сказал — кодовой принадлежностью любого интеллигентного дома, бесчисленные изображения Хемингуэя — в рубашке военного покроя, в грубом свитере и даже в полуголом виде за рулем

парусной яхты — продавались в галантерейных магазинах наряду с чугунными витязями, анодированными пепельницами и псевдогрузинской чеканкой, цитатами из Хемингуэя полтора десятилетия перебрасывалась развитая городская молодежь, Хемингуэю посвящали стихи Евтушенко и Ахмадулина, а Виктор Платонович Некрасов, еще будучи советским писателем, опубликовал хороший рассказ, который так и был им озаглавлен — «Посвящается Хемингуэю».

Как же получилось, что иностранный писатель, американец, убежденный индивидуалист, весьма далекий как от марксистско-ленинских идей, так и от классической русской литературной традиции, отразился не только в сознании, но и в облике целого поколения советских граждан, стал образцом современного характера, эталоном мужчины, а также породил неисчислимое количество подражателей, соизмеримых по численности разве что с легионами подражателей Маяковского?

На все эти вопросы отвечает Раиса Орлова в своей книге «Хемингуэй в России», выпущенной недавно издательством «Ардис».

В книге Раисы Орловой наличествуют два плана — внешний и внутренний, историко-научный и общественно-публицистический. Фабула исследования развивается в соответствии с датами публикаций Хемингуэя на русском языке, с различными вехами его довольно бурной биографии, с разнообразными партийными документами и причудливыми веяниями в нашей общественной жизни. Развивающаяся параллельно всему этому, внутренняя, аналитическая часть книги посвящена вза-

имодействию творчества Хемингуэя, его эстетической и нравственной программы — с сознанием аудитории, причем на разных исторических этапах, в силу тех или иных событий, а также — вопреки этим событиям.

Раиса Орлова показывает, как хемингуэевский кодекс мужественного поведения в безнадежных обстоятельствах становился опорой для советского человека, как герои Хемингуэя, подавляющие свои чувства во имя долга, становились для наших соотечественников спасительным или хотя бы утешительным примером.

Персонажи Хемингуэя, как и советские люди, то и дело, по выражению Маяковского, «наступали на горло собственной песне», но при этом Раисой Орловой тонко подмечено, что подобие хемингуэевского кодекса тем правилам, которые внедрялись в души советских людей, было обманчивым, а суть этих двух этических программ — диаметрально противоположной. Чем бы ни жертвовали герои Хемингуэя в борьбе за дело, которое они считали правым, никто из них, тем не менее, не писал доносов, не выдавал на расправу колхозникам собственного отца и не сопровождал демагогические лозунги партийных вождей — бурными, долго не смолкающими аплодисментами, переходящими в овацию. Поэтому углубление в мир Хемингуэя становилось для советского человека если не бунтом, то во всяком случае — формой бегства от действительности с ее метростроями, днепрогэсами и гидроцентралями, с ее громыхающими одами и клубящимися эпопеями, а главное — с ее приматом коллектива над личностью.

Нельзя не согласиться с Орловой и в том, что любовь к Хемингуэю носила в нашей стране романтический, то есть капризный, возвышенный, требовательный и переменчивый характер, склонный к идеализации и потому чреватый в дальнейшем бурными разочарованиями. Действительно, увлечение Хемингуэем, как подмечает Раиса Орлова, явно напоминает феномен русского байронизма XIX столетия, когда в 20—30-е годы появились десятки русских поэм и романов в байроническом духе. Ведь и тогда, как и в случае с Хемингуэем, можно было не только декламировать строки, навеянные английским поэтом, но и встречать местных байронов в Петербурге и в Москве, в дворянском собрании и в гвардейском полку, на полковой гауптвахте или даже в казематах Петропавловской крепости. И если молодой Александр Сергеевич Пушкин, условно говоря, кутался в плащ Чайлд-Гарольда, то Иосиф Бродский или Василий Аксенов в пору ранней молодости примеривали на себя грубые рыбацкие свитера и отпускали хемингуэевские бороны.

Раиса Орлова внимательно прослеживает всю историю бурного и драматического «романа» между русским обществом и великим американским писателем, со всеми взлетами и спадами, с первыми публикациями и первыми проработками, с длительной опалой в 40-е годы, которую Хемингуэй имел честь разделять с лучшими русскими прозаиками Булгаковым, Платоновым и Зощенко, с реабилитацией в конце 50-х годов, которую Хемингуэй разделил с теми, кто уцелел в сталинских лагерях, и с постепенным угасанием этого «романа» в 70-е годы.

Именно в эту пору, когда Хемингуэй завоевал журналы и издательства, сцену и кинематограф, русское общество начало охладевать к своему кумиру. Любовь к нему перестала быть личной, интимной, полузапретной, она стала общей, дозволенной, массовой, а не это ли верный признак угасания чувств? Полтора десятилетия русская молодежь жила рыболовно-охотничьими и военно-спортивными идеалами, но вот недолгая оттепель сменилась ощутимыми заморозками, переходящими в устойчивое ненастье, и мыслящая часть русского общества разделилась на лояльных прагматиков и на тех, кто потянулся к более глубоким формам духовности, кто попытался приобщиться к религии или русской философии начала века, кто либо замкнулся в узком кругу близких по духу людей, либо бесстрашно пошел на открытую конфронтацию с властями.

Для этого поколения Хемингуэй был простоват и даже инфантилен, а его основные тезисы перекликались с древнегреческим «в здоровом теле — здоровый дух», в то время как русское общество все чаще убеждалось, что в самом здоровом теле может гнездиться рабское заячье сердце, а слабая и хрупкая телесная оболочка сплошь и рядом оказывается вместищем подлинной духовности.

Таким образом, Хемингуэй как бы перекинул для советского читателя мост от парадного и безликого искусства социалистического реализма к фантазмагориям Кафки и Оруэлла, к откровениям Бердяева, Леонтьева и Соловьева, одарив наше поколение простыми и доступными идеалами,

и не Хемингуэй виновен в том, что эти идеалы оказались слишком хрупкими, что советская реальность потребовала от нас более серьезных решений и побудила к более серьезным раздумьям.

Хемингуэй был нашим кумиром, его не только любили как писателя, но и старались жить по его образцам, и потому разочарование в нем было особенно сильным, ведь по-настоящему презирать и ненавидеть человек способен лишь собственные слабости и грехи.

Хемингуэй застрелился около тридцати лет назад и с тех пор остается неизменным, а меняемся только мы сами, и не очень-то благородно, я думаю, возлагать на покойного писателя ответственность за собственные перемены.

Хемингуэй был кумиром, а любовь или хотя бы благодарность к развенчанному кумиру требует от нас известной доли благородства, поэтому главная ценность книги Раисы Орловой именно в том, что она пробуждает добрые чувства в тех из нас, кто еще способен на это.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Недавно в американском издательстве «Эрмитаж», которое возглавляет писатель и ученый Игорь Ефимов, вышло фундаментальное исследование профессор-славистов Марка Альтшуллера и Елены Дрыжаковой «Путь отречения» с подзаголовком «Русская литература 1953—1968».

Альтшуллер и Дрыжакова обозначили рамки своего труда двумя запоминающимися датами: в 53-м году умер Сталин, а в 68-м совершилась оккупация Чехословакии. Пятнадцатилетний период между этими двумя событиями, ознаменовавшийся сложными культурными процессами, принято называть «хрущевской» или, с некоторой долей иронии — «кукурузной оттепелью», поскольку нововведения в общественной жизни Никита Хрущев сопровождал усиленной пропагандой выращивания кукурузы.

Вышеуказанный период привлекает к себе внимание как в Союзе, так и на Западе, но при этом отношение к нему в кругах интеллигенции, а также среди критиков и историков литературы — далеко не однозначно. У одних сохранилось в памяти ощущение нарастающего праздника и своего рода «культурной революции», другие восприняли оттепель как эпоху манипулирования на грани дозволенной правды и в рамках не столько смягчившейся, сколько растерявшейся и одряхлевшей цензуры.

Достаточно припомнить тот факт, что в начале шестидесятых годов, в пору триумфальной известности Евтушенко и Вознесенского, ленинградского поэта Иосифа Бродского ни больше ни меньше как судили за тунеядство и выслали в Архангельскую область, не говоря о десятках тех молодых поэтов и прозаиков, чьи литературные попытки властям удалось пресечь без лишнего шума.

Таким образом, в литературоведении наметились две опасные крайности при оценке культурных явлений послесталинской эпохи. Если советские историки литературы вообще не замечают специфики хрущевской оттепели, изображая развитие нашей литературы как единый и гармоничный процесс от Фадеева и Эренбурга до Белова и Приставкина, то эмигрантские филологи порою склонны вообще отказывать кому бы то ни было из официальных советских поэтов и прозаиков — Евтушенко, Вознесенскому, Абрамову или Трифонову — в крупнице творческого дарования, рисуя их исключительно — лицемерами, конформистами и трубадурами режима, то есть, в конечном счете, как это ни парадоксально, совпадая до некоторой степени во взглядах с казенным советским литературоведением.

В книге Альтшуллера и Дрыжаковой «Путь отсечения» сосуществуют две тенденции — публицистическая и академическая, есть в ней нравственная притязательность, с одной стороны, и, с другой стороны — сдержанный научный анализ богатого фактического материала. Должен сказать, что академизм при этом довольно явно преобладает над публицистикой, и этому, принимая во внимание все сказанное выше, можно только радоваться, ведь не-

достатка в самой острой публицистике эмигрантское литературоведение не испытывает.

Характерно в своей многозначности само название книги Альтшуллера и Дрыжаковой — «Путь отречения». В нем заложена идея отречения от фальшивых ценностей сталинской эпохи, и в то же время слышится горькая нота, связанная с последующей частичной капитуляцией целого ряда писателей под воздействием наступивших вскоре идеологических заморозков...

Марк Альтшуллер и Елена Дрыжакова — муж и жена, бывшие ленинградцы, эмигрировавшие на Запад в 78-м году. Альтшуллер был в Советском Союзе специалистом по русской поэзии допушкинской эпохи, Дрыжакова занималась творчеством Герцена, оба напечатали в советских научных изданиях множество статей, после эмиграции преподавали в нескольких американских университетах, печатаясь как по-русски, так и по-английски.

В книге Альтшуллера и Дрыжаковой семь разделов, каждый из них ограничен хронологическими рамками и соответствует определенному этапу в общем процессе культурного ренессанса.

Первый раздел, «Оттепель», содержит анализ первых ростков свободомыслия в произведениях поэтов Твардовского, Слуцкого, Ольги Берггольц и прозаиков — Эренбурга, Дудинцева, Гранина.

Второй раздел, «Выжидательное пятилетие» (1957—1961), посвящен в основном Борису Пастернаку и его Нобелевской эпопее.

В третьем разделе, «На гребне хрущевского либерализма», содержатся короткие монографические исследования творчества Евтушенко, Вознесенско-

го, Ахмадулиной, Окуджавы и других известных поэтов, триумфально заявивших о себе в эпоху послесталинской либерализации.

Четвертый раздел целиком отведен Солженицыну, причем речь идет именно о Солженицыне-художнике, в то время как за последние годы Солженицын стал объектом анализа почти исключительно как публицист, историк и общественный деятель, что несколько искажает представление об этом писателе.

В пятом разделе, «Разрушение социалистического реализма», анализируется проза «Нового мира» в эпоху расцвета этого журнала, а также дается монографический очерк творчества Василия Аксенова — может быть, самого типичного представителя литературного поколения, сформировавшегося в послесталинский период.

В двух последних разделах речь идет о творчестве Евгении Гинзбург, Юрия Домбровского, Варлама Шаламова, Василия Гроссмана — то есть о писателях, которые так и не смогли, несмотря на весь хрущевский либерализм, опубликовать на родине свои главные произведения.

Кстати, именно в этих разделах мне удалось обнаружить ряд мелких неточностей. Приведу одну из них. Альтшуллер и Дрыжакова утверждают, что ни одно стихотворение Иосифа Бродского не было опубликовано в Советском Союзе. Это ошибка. В СССР опубликовано не менее семи оригинальных стихотворений Бродского, а также несколько его переводов, что, конечно же, не меняет существа дела: Бродский был и остается у себя на родине запрещенным поэтом.

Заканчивают Альтшуллер и Дрыжакова свою книгу сдержанно-оптимистической нотой:

«...Хотя вторжение советских танков в Чехословакию означало возвращение советского государства к жесткому тоталитарному курсу, повернуть назад к сталинскому террору и заставить литературу писать по лживым стандартам социалистического реализма — КПСС не удалось».

От всей души мне хотелось бы разделить это чувство сдержанного оптимизма, но боюсь, что его не разделяют ни Ирина Ратушинская, ни Виктор Некипелов, ни Анатолий Марченко, ни Лев Тимофеев, ни Леонид Бородин, ни другие писатели, находящиеся в тюрьмах, лагерях и ссылках, преступление которых заключается именно в нежелании писать по лживым стандартам.

МЫ НАЧИНАЛИ В ЭПОХУ ЗАСТОЯ

За последние годы в советской, да и в эмигрантской прессе выработались определенные стереотипы и клише — «казарменный социализм», «административно-командная система» и в более общем смысле — «эпоха застоя». Сразу же представляется нечто мрачное, беспросветное, лишенное каких бы то ни было светлых оттенков. Но жизнь, как известно, и в том числе — культурная жизнь страны, шире и многозначнее любого, самого выразительного стереотипа. Так что и в эпоху застоя, на которую пришлось начало моих литературных занятий, встречал я людей, достойных любви, внимания и благодарности.

После войны в Ленинграде было создано Центральное литературное объединение при Союзе писателей, которое возглавляли два человека — прозаик Леонид Николаевич Рахманов и моя любимая тетка Маргарита Степановна Довлатова, в те годы — старший редактор издательства «Молодая гвардия». Причем основная идеологическая нагрузка ложилась именно на нее, поскольку Рахманов был беспартийным, а моя тетка — давним и более-менее убежденным членом партии. Рахманов был известен как очень культурный, благородный и доброжелательный человек, а о своей близкой родственнице мне говорить куда сложнее. Я знаю, что она была из числа так называемых «прогрес-

сивных редакторов», старалась удержаться в своей работе на грани дозволенной правды, восхищалась Пастернаком и Ахматовой, дружила с Зощенко, который в свою очередь относился к ней весьма дружески, о чем свидетельствуют уважительные и даже ласковые автографы на его книгах. Могу добавить, что одно из писем Михаила Зощенко к Сталину было написано моей теткой. Зощенко встретился с ней и сказал: «Маро, напишите за меня письмо Сталину, а то я совершенно не знаю вашей терминологии».

В заседаниях ЛИТО при Союзе писателей я, будучи хоть и развитым, но все-таки младенцем, не участвовал, но иногда присутствовал на них просто потому, что заканчивались они нередко в квартире моей тетки, у которой и я был частым гостем. Могу сказать, что заседания ЛИТО проходили в абсолютно неформальной обстановке, с чаем, а то и с вином, которое, впрочем, еще не употреблялось тогда в столь безбрежном количестве, как в пору моего литературного становления. Из этого ЛИТО вышло несколько таких заметных писателей, как Виктор Голявкин, Эдуард Шим или Глеб Горышин, один кумир советского мещанства — Валентин Пикуль и два моих любимых автора — прозаик Виктор Конецкий и драматург Александр Володин.

Ни моя тетка, ни Леонид Рахманов не были влиятельными людьми, так что, пробивая в печать труды своих воспитанников, они обращались за помощью и содействием к Вере Пановой или Юрию Герману. Оба маститых писателя, и особенно Юрий Павлович Герман, уделяли много времени и сил

возне с литературной молодежью. Кстати, на одном из собраний в Доме писателя на улице Воинова, 18, Вера Панова публично объявила начинающего в ту пору талантливое писателя Рида Грачева — гением. Судьба Грачева сложилась драматически, но и сейчас я с восхищением перечитываю его старые рассказы.

Позднее, когда моя тетка и Леонид Рахманов отошли от дел, Центральное ЛИТО возглавил Геннадий Гор, писатель огромной культуры, владелец одной из лучших в Ленинграде библиотек. По складу своему это был человек довольно робкий, раз и навсегда запуганный сталинскими репрессиями, так что протекции он оказывать не умел, но его духовное и культурное влияние на своих, так сказать, воспитанников было очень значительным. Достаточно сказать, что из его литобъединения вышел самый, быть может, яркий писатель-интеллектуал наших дней — Андрей Битов. В этом же ЛИТО, в очень насыщенной культурной атмосфере формировались такие писатели, как Борис Вахтин и Валерий Попов.

Сам я успел побывать лишь на двух или трех заседаниях, которые вел Геннадий Самойлович Гор, а затем его сменил Израиль Моисеевич Меттер, которому суждено было сыграть в моей жизни очень существенную роль. Он сказал мне то, чего я не слышал даже от любимой тетки, а именно: что я с некоторым правом взялся за перо, что у меня есть данные, что из меня может выработаться профессиональный литератор, что жизненные неурядицы, связанные с этим занятием, не имеют абсолютно никакого значения и что литература —

лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный человек.

Меттер был личностью весьма независимой даже в не очень подходящие для этого годы. Могу напомнить, что именно он в единственном числе аплодировал Михаилу Зощенко в одном из залов Ленинградского Дома писателя, когда тот был подвергнут очередному публичному поруганию. А когда лет десять спустя в Союз писателей принимали группу молодых ленинградских поэтов и все наперебой поздравляли их с этим событием, Меттер поднялся на сцену и четко выговорил одну-единственную фразу: «Помните, что Борис Пастернак, умирая, не был членом Союза советских писателей».

Меттера в качестве руководителя Центрального ЛИТО сменил Виктор Семенович Бакинский, и нам опять-таки повезло, потому что это был чуткий и очень доброжелательный человек, в присутствии которого мы вели себя совершенно открыто, говорили бог знает что, и в частности — бешено разругали два рассказа самого Бакинского, которые он имел неосторожность нам прочесть.

Недавно я узнал, что Виктор Бакинский скончался и, как утверждают его близкие, последнее, что он написал в жизни, было письмо ко мне в Нью-Йорк.

Не следует думать, что вся прогрессивная молодежь была сосредоточена в Центральном ЛИТО, это не так. Иосиф Бродский, скажем, никогда не входил ни в одно объединение, а между тем его судьбой в разное время занимались — Эткинд, Юрий Герман, Панова, Адмони и поэтесса Наталья Грудинина.

Единственным, пожалуй, настоящим диссидентом среди ленинградских писателей, причастных к воспитанию молодежи, был Кирилл Владимирович Успенский, который умудрился получить лагерный срок в самый разгар хрущевского либерализма, а по выходе на свободу нес в Союзе писателей такую антисоветчину, которую мне ни до, ни после этого не доводилось слышать в публичных местах. Вспоминаю, как мы с теткой встретили Кирилла Успенского в многолюдном ресторане на улице Воинова и она укоризненно сказала ему: «Кирилл, почему вы такой небритый?» — в ответ на что Успенский громогласно воскликнул: «Советская власть не заслужила, чтобы я брился!»

Еще когда Успенский сидел в Крестах, к нему на свидание пришел Юрий Герман в надежде как-то повлиять на взгляды и умонастроения подследственного, но Кирилл Владимирович с таким напором стал пропагандировать гостя, что Юрий Павлович вышел через час из тюрьмы с раз и навсегда пошатнувшейся верой в коммунистические идеалы.

Под вызывающей формой поведения К. В. Успенского скрывалась глубокая убежденность в том, что литература в наших условиях — это опасное поприще, требующее от человека стойкости и мужества. Не случайно вокруг Успенского сплотились в основном те литераторы, которые выказали в дальнейшем свою абсолютную неспособность к компромиссам, — Бродский, Уфлянд, Найман, Рейн, Еремин.

В Доме культуры «Трудовых резервов» вел ЛИТО Давид Яковлевич Дар, который никому из своих воспитанников не помогал пробиваться

в печать и, наоборот, внушал им, что литература — занятие подпольное, глубоко личное, требующее от художника особого психического склада. Из всех наших литературных наставников Дар был единственным убежденным модернистом, хотя в конце концов из его объединения вышли не только такие экстравагантные поэты, как Виктор Соснора, но и такие традиционные, как Глеб Горбовский. В качестве мужа Пановой Дар располагал значительными денежными средствами, и его помощь молодым авторам выражалась еще и в самых простых житейских формах: он легко одалживал деньги кому попало, дарил нуждающимся пишущие машинки, а то и брюки, и у него дома всегда стоял коньяк для тех, кому необходимо было в этот день опохмелиться. Когда я спрашивал Дара, что помогает ему в преклонном возрасте сохранять такую неистовую энергию, он, пыхтя изогнутой трубкой, отвечал: «Коньяк и табак».

Самым серьезным и добросовестным воспитателем литературной смены, самым настойчивым поборником изощренного художественного качества был руководитель ЛИТО при Горном институте, все еще недооцененный литератор Глеб Сергеевич Семенов, поэтика которого близка к формальным достижениям Кушнера и Давида Самойлова, хотя Семенов был старше их обоих. И все-таки прославился он не стихами, а умением работать с молодежью, терпеливо и последовательно, шаг за шагом, невзирая ни на какую идеологическую конъюнктуру, превращать вздорных молодых людей с определенными амбициями и неопределенными способностями — в профессиональных поэтов.

Оглядываясь на свое безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться. Это во-первых, а во-вторых, мне повезло еще и в том смысле, что на заре моих, теперь уже долгих литературных занятий рядом со мной были «официальные писатели эпохи застоя», которые верили в меня, тратили на меня время, внушали мне веру в свои силы и которые сейчас, во всяком случае те из них, которые живы, читают мои рассказы в советских журналах и пишут мне письма, заканчивающиеся словами: «Все это я говорил тебе, дураку, тридцать лет назад».

ЭТО НЕПЕРЕВОДИМОЕ СЛОВО — «ХАМСТВО»

Рассказывают, что писатель Владимир Набоков, годами читая лекции в Корнельском университете юным американским славистам, бился в попытках объяснить им «своими словами» суть непереводаемых русских понятий — «интеллигенция», «пошлость», «мещанство» и «хамство». Говорят, с «интеллигенцией», «пошлостью» и «мещанством» он в конце концов справился, а вот растолковать, что означает слово «хамство», так и не смог.

Обращение к синонимам ему не помогло, потому что синонимы — это слова с одинаковым значением, а слова «наглость», «грубость» и «нахальство», которыми пытался воспользоваться Набоков, решительным образом от «хамства» по своему значению отличаются. Наглость — это в общем-то способ действия, то есть напор без моральных и законных на то оснований, нахальство — это та же наглость плюс отсутствие стыда, что же касается грубости, то это скорее — форма поведения, нечто внешнее, не затрагивающее основ, грубо можно даже в любви объясняться, и вообще действовать с самыми лучшими намерениями, но грубо, грубо по форме — резко, крикливо и претенциозно.

Как легко заметить, грубость, наглость и нахальство, не украшая никого и даже заслуживая всяческого осуждения, при этом все-таки не убивают наповал, не опрокидывают навзничь и не по-

буждают лишний раз задуматься о безнадежно плачевном состоянии человечества в целом. Грубость, наглость и нахальство травмируют окружающих, но все же оставляют им какой-то шанс, какую-то надежду справиться с этим злом и что-то ему противопоставить.

Помню, еду я в ленинградском трамвае, и напротив меня сидит пожилой человек, и заходит какая-то шпана на остановке, и начинают они этого старика грубо, нагло и нахально задевать, и тот им что-то возражает, и кто-то из этих наглецов говорит: «Тебе, дед, в могилу давно пора!» А старик отвечает: «Боюсь, что ты с твоей наглостью и туда раньше меня успеешь!» Тут раздался общий смех, и хулиганы как-то стушевались. То есть — имела место грубость, наглость, но старик оказался острый на язык и что-то противопоставил этой наглости.

С хамством же все иначе. Хамство тем и отличается от грубости, наглости и нахальства, что оно непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно только отступить. И вот я долго думал над всем этим и, в отличие от Набокова, сформулировал, что такое хамство, а именно: хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом — умноженные на безнаказанность. Именно в безнаказанности все дело, в заведомом ощущении ненаказуемости, неподсудности деяний, в том чувстве полнейшей беспомощности, которое охватывает жертву. Именно безнаказанностью своей хамство и убивает вас наповал, вам нечего ему противопоставить, кроме собственного унижения, потому что хамство —

это всегда «сверху вниз», это всегда «от сильного — слабому», потому что хамство — это беспомощность одного и безнаказанность другого, потому что хамство — это неравенство.

Десять лет я живу в Америке, причем не просто в Америке, а в безумном, дивном, ужасающем Нью-Йорке, и все поражаюсь отсутствию хамства. Все, что угодно, может произойти здесь с вами, а хамства все-таки нет. Не скажу, что я соскучился по нему, но все же задумываюсь — почему это так: грубые люди при всем американском национальном, я бы сказал, добродушии попадают, наглые и нахальные — тоже, особенно, извините, в русских районах, но хамства, вот такого настоящего, самоупоенного, заведомо безнаказанного, — в Нью-Йорке практически нет. Здесь вас могут ограбить, но дверью перед вашей физиономией не хлопнут, а это немаловажно.

И тогда я стал думать, припоминать: при каких обстоятельствах мне хамили дома. Как это получалось, как выходило, что вот иду я по улице — тучный, взрослый и даже временами в свою очередь нахальный мужчина, во всяком случае явно не из робких, бывший, между прочим, военнослужащий охраны в лагерях особого режима, закончивший службу в Советской Армии с чем-то вроде медали — «За отвагу, проявленную в конвойных войсках», — и вот иду я по мирной и родной своей улице Рубинштейна в Ленинграде, захожу в гастроном, дожидаясь своей очереди, и тут со мной происходит что-то странное: я начинаю как-то жалобно закатывать глаза, изгибать широкую поясницу, делать какие-то роющие движения

правой ногой, и в голосе моем появляется что-то родственное фальцету малолетнего попрошайки из кинофильма «Путевка в жизнь». Я говорю продавщице, женщине лет шестидесяти: «Девушка, миленькая, будьте добреньки, свесьте мне маслица граммчиков сто и колбаски такой, знаете, нежирненькой, граммчиков двести...» И я произношу эти уменьшительные суффиксы, изо всех сил стараясь понравиться этой тетке, которая, между прочим, только что прикрепила к своему бидону записку для своей сменщицы, что-то вроде: «Зина, сметану не разбавляй, я уже разбавила...», и вот я изгибаюсь перед ней в ожидании хамства, потому что у нее есть колбаса, а у меня еще нет, потому что меня — много, а ее — одна, потому что я, в общем-то, с известными оговорками, — интеллигент, а она торгует разбавленной сметаной...

И так же угодливо я всю жизнь разговаривал с официантами, швейцарами, водителями такси, канцелярскими служащими, инспекторами домоуправления — со всеми, кого мы называем «сферой обслуживания». Среди них попадались, конечно, милые и вежливые люди, но на всякий случай изначально я мобилизовывал все уменьшительные суффиксы, потому что эти люди могли сделать мне что-то большое, хорошее, важное, вроде двухсот граммов колбасы, а могли — наоборот — не сделать, и это было бы совершенно естественно, нормально и безнаказанно.

И вот так я прожил 36 лет, и переехал в Америку, и одиннадцатый год живу в Нью-Йорке, и сфера обслуживания здесь — не то пажеский корпус, не то институт благородных девиц, и все вам

улыбаются настолько, что первые два года в Америке один мой знакомый писатель из Ленинграда то и дело попадал в неловкое положение, ему казалось, что все продавщицы в него с первого взгляда влюбляются и хотят с ним уединиться, но потом он к этому привык.

И все было бы замечательно, если бы какие-то виды обслуживания — почта, например, или часть общественного транспорта — не находились и здесь в руках государства, что приближает их по типу к социалистическим предприятиям, и хотя до настоящего хамства здешняя почта еще не дошла, но именно здесь я видел молодую женщину за конторкой, с наушниками и с магнитофоном на поясе, которая, глядя на вас, как на целлофановый мешок, слушала одновременно рок-песенки и даже как-то слегка агонизировала в такт. С тех пор я чаще всего пользуюсь услугами частной почтовой компании «Юпиэс», и здесь мне девушки улыбаются так, что поневоле ждешь — вот она назначит тебе в конце разговора свидание, но даже после того, как этого, увы, не происходит, ты все равно оказываешься на улице более или менее довольный собой.

ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

Те же и «Мадонна» Боттичелли

Апрель 1980 года. Я сижу на террасе дешевого ресторана в Манхэттене. Жду свою переводчицу Энн Фридмен.

Познакомил нас Иосиф Бродский. Точнее, организовал нашу встречу. Мы договорились, что я буду ждать ее на углу Лексингтон и Сорок шестой.

Энн предупредила:

- У меня в руках будет коричневая сумочка.
- А меня часто путают с небоскребом «Утюг».

Я пришел около семи. Заказал стакан пепси-колы. Вынул сигареты.

Мимо двигалась нескончаемая толпа. В ней явно преобладали молодые женщины с коричневыми сумочками. Хорошо, меня заранее предупредили, что Энн Фридмен красавица. Иосиф сказал: «Похожа на „Мадонну“ Боттичелли».

Мировую живопись я знаю слабо. Точнее говоря, не знаю совершенно. Но имя Боттичелли, естественно, слышал. Ассоциаций не вызывает. Так мне казалось.

И вдруг я ее узнал, причем безошибочно, сразу. Настолько, что окликнул. Наверное, Боттичелли скромно тайлся в моем подсознании. И когда потребовалось, благополучно выплыл.

Действительно, Мадонна. Приветливая улыбка, ясный взгляд. Казалось бы, ну что особенного? А в жизни это попадает так редко.

Затем состоялся примерно такой диалог:

— Хэлло! Я Энн Фридмен.

— Очень приятно. Я тоже...

Видно, я здорово растерялся. Неужели все это происходит со мной — Америка, литература, юная блондинка?! Около тридцати долларов в кармане. Точнее, двадцать восемь пятьдесят...

Мы шли по Сороковой улице. Я распахнул дверь полутемного бара. Приблизился к стойке:

— Джин энд тоник.

— Сколько?

— Четыре двойных?!

— Вы кого-нибудь ждете? — поинтересовался бармен.

— Да, — ответила моя новая знакомая, — скоро явится вся баскетбольная команда.

Я выпил, заказал еще.

Энн Фридмен молчала. Хотя в самом ее молчании было нечто конструктивное. Наша бы давно уже высказалась:

— Закусывай. А то совсем хорош!

Кстати, в американском баре и закусывать-то нечем.

Молчит и улыбается.

Надо ли говорить о том, что я сразу решил жениться? Забыв обо всем на свете. В том числе и о любимой жене. Что может быть естественнее и разумнее — жениться на собственной переводчице?!

На следующих четырех двойных я подъехал к теме одиночества. Тема, как известно, неисчерпае-

мая. Чего другого, а вот одиночества хватает. Деньги у меня, скажем, быстро кончаются, одиночество — никогда.

А девушка все молчала. Пока я не спросил о чем-то. Пока не сказал чего-то лишнего. Бывает, знаете ли, сидишь на перилах, тихонько раскачиваясь. Лишний миллиметр — и центр тяжести уже где-то позади. Еще секунда — и окунешься в пустоту. Тут важно сразу же остановиться. И я остановился. Но еще раньше прозвучало и имя — Стивен. Стивен Диксон — муж или жених. Вскоре мы с ним познакомились. Ясный взгляд, открытое лицо и совершенно детская, почти младенческая улыбка. (Как это они все друг друга находят?!)

Ладно, думаю. Ограничимся совместной творческой работой. Не так обидно, если блондинка исчезает с хорошим человеком.

Мы — соавторы

Родители Энн Фридмен — польские евреи. Отец два года провел в советском лагере. Более или менее свободно говорит по-русски. Но с акцентом, разумеется. Однако вот что удивительно: когда Грегори переходит на лагерную «феню», акцент без следа исчезает. И матом он ругается без всякого акцента. По-моему, тут есть над чем задуматься.

Энн Фридмен родилась уже в Нью-Йорке. Занималась на славистском отделении. Написала потрясающую диссертацию о Чехове.

И вот ей рекомендовали заняться моими сочинениями. Энн позвонила, и я выслал ей тяжелую

бандероль. Затем она надолго исчезла. Месяца через два позвонила снова и говорит:

— Скоро будет готов черновой вариант. Я пришлю вам копию.

— Зачем? Я же не читаю по-английски.

— Разве вас не интересует перевод? Вы сможете показать его знакомым.

(Как будто мои знакомые — Хемингуэй и Фолкнер.)

Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Вряд ли перевод окажется хорошим. Ведь герои моих рассказов — зеки, фарцовщики, спившаяся богема. Все они разговаривают на диком жаргоне. Большую часть всего этого даже моя жена не понимает. Так что же говорить о молодой интеллигентной американке? Как, например, можно перевести такое выражение — «Игруля с Бомбиловки»? Или — «Фиговатый конь породы»? И так далее.

И вообще, молодая блондинка, к тому же хорошая переводчица — это слишком. Так не бывает.

Энн Фридмен сдержанно прибавила:

— Мне кажется, перевод хороший.

Я думал, что ослышался. Нет, именно так и сказала — «перевод хороший». То есть небрежно похвалила собственную работу.

Впоследствии я убедился — так принято. Скромность в Америке не является первоочередной добродетелью. А ложная скромность — тем более. Даже в анкетах при трудоустройстве есть графа: «Как вы оцениваете собственные профессиональные качества?»

Энн Фридмен сказала — перевод хороший. И перевод действительно оказался хорошим. Мои друзья, прекрасно знающие английский, говорили:

— Читая ее переводы, мы слышим твой голос.

Я у Бродского спросил по телефону:

— Вы мой рассказ читали?

— Читал.

— А перевод читали?

— Читал.

— Ну и как?

— Перевод замечательный.

Затем он то ли уточнил, то ли исправился:

— Адекватный.

Позже я буду дружить с очаровательной неглупой Лайзой Такер. Которая также изъявит желание заняться моими рассказами. И я спрошу ее:

— Вы что-то уже переводили с русского?

— Да, — ответит Лайза, — я перевела стихи Цветаевой.

И добавит:

— В моих переводах они звучат лучше, чем в оригинале.

Вот этого я уже перенести не смогу. И дружба наша, к сожалению, прервется.

Я сказал Энн Фридмен:

— Мы должны обсудить некоторые финансовые проблемы. Платить вам я не в состоянии.

— Да, знаю. Мне говорили.

— Если хотите, будем соавторами. В случае успеха гонорары делим пополам.

Предложение было нахальное. Какие уж там гонорары! Если даже Набоков был вынужден преподать.

Энн согласилась. Кстати, это был единственный трезвый и дальновидный финансовый шаг, который я предпринял в Америке.

Что такое «Ньюйоркер»?

И вот она звонит:

— Я отослала перевод Иосифу. Он передал рукопись в «Ньюйоркер». Им понравилось. Через два-три месяца рассказ будет напечатан.

Я спросил:

— «Ньюйоркер» — это газета? Или журнал?

Барышня даже растерялась от моего невежества. С таким же успехом я мог бы поинтересоваться: «Нью-Йорк — это, простите, город или деревня?»

Слышу:

— «Ньюйоркер» — самый престижный журнал в Америке. Они заплатят вам несколько тысяч.

— Ого!

Откровенно говоря, я даже не слишком удивился. Наверное, потому, что слишком долго всего этого ждал.

Мармеладовая роза

Линда Ашер — заведующая отделом прозы в «Ньюйоркере». Она же с восьмидесятого года мой постоянный редактор.

Линда позвонила мне в конце июля. Пригласила на ланч в ресторан «Алгонкуин», угол Сорок третьей и Шестой. Я почему-то сразу догадался, что это шикарный ресторан.

Звоню Энн Фридмен, спрашиваю:

— Как я должен быть одет?

Слышу:

— Ведь ты же писатель, артист. Ты можешь одеваться как угодно. А днем — тем более. Так что не обязательно являться в смокинге. Можно и в обыкновенном светлом костюме.

Неплохо, думаю. У меня и пиджака-то человеческого нет. Есть свитер, вязанный жилет и джинсовая куртка.

Звоню поэту Льву Халифу. Благо мы с ним одинаковой комплекции. Халиф мне уступает голубой пиджак, который ему дали в синагоге. И галстук цвета вянущей настурции.

Как я и предполагал, «Алгонкуин» — самое дорогое место в этой части Нью-Йорка. Интерьер в старинном духе: бронзовые канделябры, гобелены, мельхиоровая посуда. Линда Ашер — маленькая стройная женщина, пренебрегающая косметикой. Она, естественно, не говорит по-русски. Ваш почтенный слуга, что менее естественно, так и не овладел английским. При этом как-то мы с ней все же объясняемся. Каким-то непонятным образом беседуем между собой. Может быть, дело в категорической американской установке на понимание? Здесь так: говорите ясно, медленно, отчетливо — и вас поймут. На каком бы языке вы ни изъяснялись. Мама в супермаркете то и дело заговаривает по-грузински. Просто от смущения и растерянности. И ее понимают.

Я с испугом листаю меню. Читаю его, как Тору, справа налево. Шестнадцать долларов — «Потроха а-ля Канн». Восемнадцать девяносто —

«Фрикасе эскарго с шампиньонами». Двадцать четыре пятьдесят — какое-то «Филе Россини». «Лобстер по-генуэзски» — цена фантастическая. Прямо так и сказано — «цена фантастическая». Это у них юмор такой. Хватает совести шутить.

Листаю меню. Стараюсь угадать какое-нибудь технически простое блюдо. Что-нибудь туго оформленное, сухое и легко поддающееся дроблению. Вроде биточков.

Останавливаюсь на каком-то загадочном «Соте эрб де Прованс». Мне приносят нечто тягучее, рыхлое и бесформенное. Но с мармеладовой розочкой в центре. Коснешься вилкой — пружинит. Тронешь ножом — выделяется жир. Тот самый, который вскоре окажется на голубом пиджаке Льва Халифа.

От ужаса я теряю способность есть. То есть буквально не могу разжать зубы. Как бультерьер с его ужасной мертвой хваткой.

Сижу, курю, пью минеральную воду. Коньяк, джин, виски отвергаю, причем с негодованием. В кармане у меня новенькая стодолларовая бумажка. Я слышу, как она шуршит. А моя дама чуть ли не шестой коктейль себе заказывает. А я, стало быть, из экономии пью «Виши».

За спиной у меня какой-то господин во фраке. Зажигалку мне протягивает, воду наливает. Одет, естественно, лучше меня. И лицо на зависть благородное. Такое ощущение, что Гарвард закончил.

От всего этого меня едва не парализовало. Слышу, Линда говорит о моих рассказах, которые «Ньюйоркер» вроде бы хочет и дальше печатать. Я в ответ киваю. Достаяю из пачки сигарету. Тянусь к бу-

тылке «Виши». Господин делает шаг вперед. Щелкает зажигалкой. Наливает воду. Так... Русский писатель близок к обмороку.

Тут я не выдержал и сказал:

— Линда! Позвольте вам кое-что объяснить. Я в чужой стране. Фактически не говорю по-английски. Не привык к дорогим ресторанам. На мне пиджак Халифа... Халиф — это не фирма, а мой товарищ. Не перебивайте!.. Линда! Я чувствую себя идиотом. Вам это понятно?

Линда Ашер выпила коктейль, подумала и говорит с обидой:

— Все это даже американке понятно.

Затем принесли счет. Я к нему честно рванул-ся. Однако Линда решительно вытащила из моих неплотно сжатых пальцев коричневую бумажку, увенчанную цифрой — 209,14. Мягко и настойчиво произнесла:

— Это слишком дорогой ресторан. Вам он не по карману. И мне он не по карману. А это значит — платить должен мой босс, хозяин «НьюЙоркера».

И Линда небрежно предъявила официанту какой-то маленький глянцевый документ.

Продается роман

К осени в моей жизни появилась новая таинственная инстанция. Мне позвонил литературный агент Эндрю Уайли. Он просто сказал:

— Вы мне нравитесь. Я хотел бы заняться вашими делами.

Вероятно, я должен кое-что объяснить. Кто такой литературный агент? Чем он вообще занимается?

Пушкин написал когда-то:
«Не продается вдохновенье...»

Однако тут же добавил:

«Но можно рукопись продать...»

Вот и произошло на Западе разделение труда. Вдохновение — удел писателей. Продажей рукописи занимается литературный агент.

На Западе максимально усовершенствована и отработана косметика человеческих связей. Американцы страшно не любят оказываться в щекотливых, двойственных, неловких положениях. И, естественно, не желают ставить в такие положения других. А теперь представьте себе — вы автор романа. Вы напряженно беседуете с редактором. Хвастаете лестными отзывами о себе. Выпячиваете достоинства своей книги. Требуете максимальных гонораров. То есть ведете себя унижительным и неприличным образом.

Я знаю, что один советский поэт начинал разговоры в издательствах:

— В силу моего таланта, осмелюсь думать — немало...

А теперь представьте себе, что редактора не интересует ваша книга. Значит, он должен говорить вам что-то неприятное. Он пытается вести себя уклончиво, лавирует. Произносит какие-то дикие фразы:

«Я-то рад бы, а вот что подумают наверху?!»

У вас портится настроение. Вы испытываете досаду. Вам хочется убить редактора. Или как минимум поджечь его бороду.

И тогда на залитый светом просцениум выходит литературный агент. Промежуточное звено между редактором и автором.

Вам неловко расхваливать собственное произведение? Агент это проделывает с величайшей беззастенчивостью. Вам неловко доставать из портфеля хвалебные рецензии? Агент цитирует их наизусть. Вам неловко требовать солидного гонорара? Агент будет торговаться из-за каждого доллара.

Кроме того, агент хорошо ориентируется в издательском мире. Он знает, что и куда предлагать. В числе его разнообразных дарований — способность открывать таланты.

Он некий гибрид импресарио с коммивояжером. Он бойко и напористо внедряет свой товар. Причем товаром в данном случае, хоть это и обидно, являются ваши бесценные рукописи. Наше, как говорится, творчество.

Литературный агент — довольно странная профессия. Он должен быть наделен безошибочным знанием рынка. Психологическим и литературным чутьем. Эрудицией, обаянием, способностью налаживать контакты. Артистизмом, эстетическим вкусом, красноречием, чувством юмора, известным нахальством. Среди литературных агентов есть неудачники, таланты, гении. Плохой агент и хороший так же несравнимы, как Достоевский и Шундик. Есть международные агентства, которые берут пятьсот долларов лишь за то, чтобы ознакомиться с вашей рукописью. И так далее.

Первым моим литературным агентом стал Иосиф Бродский. Он рекомендовал меня «Нью-Йоркеру». Так уж получилось. Об этом даже писали в «Нью-Йорк таймс». Вторым, и последним, моим агентом стал Эндрю Уайли.

Должен сказать, что я сразу полюбил его. Во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел. И даже мягкую пищу часто брал руками.

С Эндрю мне всегда было легко, хоть он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это достигается.

К тому же Эндрю, подобно многим американским интеллигентам, был «розовым», левым. А мы, эмигранты, российские беженцы, — правые все как один. Правее нас, говорят, только стенка. Значит, я был правым, Эндрю левым. Но мы отлично ладили.

Я спрашивал его:

— Вот ты ненавидишь капитализм. Почему же ты богатый?

Эндрю в ответ говорил:

— Во-первых, к сожалению, я не очень богат.

Я перебивал:

— То же самое говорит о себе и американское казначейство.

— И все-таки, — продолжал Эндрю, — я не очень богат. Хотя я действительно против капитализма. Но капитализм все еще существует. И пока он не умер, богатым живется лучше.

В юности Эндрю едва не стал преступником. Вроде бы его даже судили за что-то. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди.

Потом он закончил Гарвард. Владеет несколькими языками. В том числе — латынью, греческим. Изучал Гомера и Пруста. Переводил, удостаивался наград. Писал стихи, был репортером.

Среди его клиентов — покойный Беккет, Найпол, Аллен Гинсберг, Филипп Рот. Его клиент — прячущийся от исламских фанатиков Сальман Рушди.

Помню, я спросил его:

— Сколько ты заработал на последней книжке Беккета?

Эндрю ответил:

— Гораздо меньше, чем заслуживает Беккет. И гораздо больше, чем заслуживаю я.

За десять лет, что мы в контакте, Эндрю фантастически разбогател. К сожалению, я тут ни при чем. Комиссионные от продажи моих романов составляют гроши.

То и дело я говорю ему:

— Спасибо, Эндрю. Вряд ли ты на мне хорошо зарабатываешь. Значит, ты альтруист, хоть и стопроцентный янки.

Эндрю говорит в ответ:

— Не спеши благодарить. Раньше зарабатывай столько, чтобы я начал обманывать тебя.

Я все думал: бывает же такое?! Американец, говорящий на чужом языке, к тому же «розовый», левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочная вещь — человеческое общение.

И все же, когда я стал посылать Эндрю рукописи моих друзей, он занервничал. Он написал мне: «Я сам выбираю нужных мне авторов».

Видно, его альтруизм имеет довольно четкие границы. Будем считать, что мне повезло.

От сольного пения — к дуэту

Переводческая деятельность в Союзе и на Западе — это абсолютно разные отрасли. Все разное — проблемы, стимулы, механизмы.

Советская переводческая школа гремит на весь мир. В Союзе переводчик — фигура. Эта профессия долгие годы была, что называется, убежищем талантов. Лучшие советские писатели не издавались. На жизнь зарабатывали переводами. И делали это, надо полагать, в ущерб своему оригинальному творчеству. То есть уровень художественных переводов рос за счет отечественной литературы в целом.

Переводами занимались все — Ахматова, Тарковский, Липкин. Естественно, Пастернак. Михаил Зощенко перевел финского юмориста Лассилу.

Наконец, существует еще один фактор. Мы очень любим все импортное, в том числе и переводную литературу.

Итак, тиражи огромные, работа переводчика сравнительно хорошо оплачивается. Лучшие из них — Райт и Кашкин, Хинкис и Маркиш, Сорока и Голышев — популярные люди.

Когда-то я работал секретарем у Веры Пановой. И однажды Вера Федоровна сказала:

— У кого сейчас лучший русский язык?

Наверное, я должен был ответить: «У вас». Но я сказал:

— У Риты Ковалевой.

— Что за Ковалева?

— Райт.

— Переводчица Фолкнера, что ли?

— Фолкнера, Сэлинджера, Воннегута.

— Неужели Воннегут звучит по-русски лучше, чем Федин?

— Без всякого сомнения.

Вера Федоровна подумала и говорит:

— Как это страшно.

На Западе все по-другому. Допустим, вы, например, — Ахматова или Пастернак. Вам есть прямой резон заниматься собственным творчеством. Денег больших переводческая работа в Америке не сулит. Престижа в ней маловато. К тому же американцы всегда предпочитали отечественную литературу импортной. Короче, материальные стимулы отсутствуют.

И тут возникает противоречие. Стимулы вроде бы отсутствуют. Однако все лучшее из мировой литературы переведено на английский. Как же так?

Я говорил, что материальные стимулы отсутствуют. Но человеком могут двигать стимулы иного рода. В Америке переводами занимаются главным образом филологи. Специалисты по всяческой зарубежной литературе. Для них это часть профессиональной карьеры.

Наконец, переводы — это творчество. Это может быть призванием, специфическим даром, врожденным талантом. То есть бывают случаи, когда не человек выбирает профессию, а профессия — человека. Есть люди, которым оригинальное творчество почему-то не дается. Зато по чужой канве они вышивают с блеском. Это какая-то органическая способность к перевоплощению.

Короче: переводы — это судьба. В этой области есть свои гиганты, посредственности, неудачники. Есть свои шедевры и провалы.

Здесь можно решать скромные профессиональные задачи. А можно штурмовать неприступные стены. Толстого, например, переводить легче, чем

Гоголя. Тургенева, скажем, проще, чем Лескова. А ведь есть русские писатели, все творчество которых основано на словесных аргументах. Оно погружено в корнесловие, насыщено метафорами, изобилует всяческой каламбуристикой, аллитерациями, цеховыми речениями, диалектизмами. Достаточно вспомнить Хлебникова, Замятина, Ремизова, писателей орнаментальной школы. Кстати, все еще не существует хороших английских переводов моего любимого Зощенко. В Америке с ним произошла такая история. Стали его переводить лет шестьдесят назад. И начали появляться в журналах его рассказы. И действие там иногда происходило в коммуналках. И вот американский критик написал статью про Зощенко. В ней было сказано:

«Зощенко — это русский Кафка, фантаст и антиутопист. Он гениально выдумал коммунальные жилища, где проживают разом множество семей. Это устрашающий и жуткий символ будущего».

Зощенко, я думаю, неперево́дим. Он создает переводчикам удвоенные трудности. Ставит перед ними двойную задачу. Во-первых, как стилист. И еще как выразитель специфической отечественной реальности. Наконец, у Зощенко свой особый язык.

Как выразить на английском его гениальные языковые «погрешности»? Как, скажем, перевести вот эту реплику: «Понимаешь, кого ты обидел? Ты удиноутробного дядю обидел!..»

Однако главное даже не это. Когда американец переводит, например, француза, он имеет дело с реальностью более или менее ему знакомой. А как, например, перевести: «Иванову дали жилплощадь»?

Или, скажем: «Петрову удалось достать банку растворимого кофе»? Или, допустим: «Сидоров лишился московской прописки»? Что все это значит?

Буквальные переводы с русского невозможны. Тут вы должны переводить не слово — словом и не фразу — фразой, а юмор — юмором, любовь — любовью, горе — горем...

На мою первую американскую книгу было тридцать рецензий. Если быть педантичным — тридцать две. Все очень хвалили переводы Энн Фридмен. Вскоре она станет «Лучшим переводчиком года». Получит 20-тысячную субсидию. А я — моральное удовлетворение.

Друзья мне скажут:

— Твои успехи впереди.

Я отвечу:

— Надеюсь. Хотя я слышу это уже лет тридцать...

Десять лет я работаю с переводчиками. Хотя всю жизнь мечтал о сольном пении. И вот на старости лет пою дуэтом.

Что бы я ни сочинял, вечно думаю о переводе. Даже в этих, например, записках избегаю трудных слов. Вы заметили?

Слова

Западные слависты и переводчики — люди весьма добросовестные. Они вооружены бесчисленными русскими словарями. В их распоряжении академический Даль, тома Ушакова и Ожегова. А также всевозможные справочники: пунктуация, морфология, ударения.

Тем не менее проблемы у славистов есть. Со многими из этих людей я регулярно переписываюсь. В письмах они то и дело спрашивают:

«Что значит слово „клиент“? Что такое — „деятель“? В таком, например, контексте: „Толкает меня один клиент, а я этому деятелю говорю — не возникай!“ Кстати, что такое — „не возникай“?»

В общем, академических словарей недостаточно. Они совершенно не выражают разнообразия будничной лексики. Тем более ненормативной лексики, давно уже затопившей резервуары языка. Комфортабельно освоившейся в языке. Даже вытесняющей из него привычные слова и выражения.

Не будем говорить о том, хорошо это или плохо. Язык не может быть плохим или хорошим. Качественные и тем более моральные оценки здесь неприменимы. Ведь язык — это только зеркало. То самое зеркало, на которое глупо пенять.

Причем употребление ненормативной лексики все менее четко определяется социальными, географическими, цеховыми рамками. Все шире растекаются потоки брани, уличного аргумента, групповой лексики, тюремной фразеологии. Раньше жаргон был уделом четких социальных и профессиональных групп. Теперь он — почти национальное достояние. Раньше слово «капуста», например, мог употребить только фарцовщик. Слово «лажа» — только музыкант. Слово «кум», допустим, — только блатной. Теперь эти слова употребляют дворники, генералы, балерины и ассистенты кафедр марксизма-ленинизма. Случилось то, что лаконично выражается народной поговоркой: «Какое время, такие песни».

Вот мы и подошли к главному. С чем имеет дело хороший переводчик? Он имеет дело не с песнями. Он имеет дело — с временем.

А число словарей, в общем-то, пополняется. Вышел, например, «Словарь блатного жаргона». Издал его в эмиграции писатель А. С. Скачинский. В Союзе он был малоизвестным литератором. Естественно, сидел. Упомянут Солженицыным в «Архипелаге» как почти единственный зек, успешно бежавший из магаданского лагеря.

Будучи заключенным, Скачинский увлекся языковыми проблемами. На богатом лагерном материале подготовил словарь. Смог издать его только на Западе.

Когда-то я разослал этот словарь чуть ли не всем знакомым переводчикам. Все они были счастливы. Профессор Дон Финн — большой чудак, американский коммунист и великий знаток русской литературы — написал мне: «Дорогой поделщик! Благодарю тебя за железный словарь. Думаю, что он будет в жилу». И подписался: «Тихий Дон».

Портрет на обложке

Прошло несколько лет. Я выпустил четыре книги по-английски. Статья обо мне появилась в знаменитом «Нью-Йорк таймс бук ревью». К тому же on the front page*, на обложке. Да еще и украшенная пятью фотоснимками, включая младенческий. Короче, поздравления, открытки, телефонные звонки. Один знакомый позвонил из Дейвиса в Техасе:

* На первой странице (англ.).

— Ты жив? Я был уверен, что ты умер от пьянства. А то слишком уж много чести для живого писателя.

Мои друзья, конечно, радовались. Хотя при этом вели какие-то обидные дискуссии. Споры о причинах моего, что называется, успеха. Один знакомый говорил: «Тут дело в модной русской проблематике». Другой: «Америка проявляет благородную снисходительность к эмигрантам». Третий: «Его легко переводить». Четвертый: «Довлатов — либерал, поэтому ему симпатизирует американская интеллигенция». Пятый: «Сережино кавказское обаяние действует на шестидесятилетних женщин». И так далее. Хоть бы один попытался увязать эти фанфары в «Обозрении» с достоинствами моей новой книжки.

Но какое-то ощущение успеха все же было. Скажем, на очередном дне рождения Бродского присутствовало тридцать знаменитых американцев. С десятью из этих знаменитостей Бродский счел нужным меня познакомить. Шестеро из них, услышав мою фамилию, воскликнули: «Congratulations!» — то есть: «Поздравляем!» А выдающийся чернокожий поэт Дерек Уолкотт крепко обнял меня.

— Поздравляю, — сказал он, — сердечно поздравляю. Ты в Америке! Ты здесь всего неделю и уже хорошо говоришь по-английски. Поздравляю...

Я ответил:

— Вы меня с кем-то путаете. Я живу здесь много лет, но по-английски все еще говорю очень скверно. Так что книги мои, естественно, издаются в переводах.

Дерек Уолкотт еще больше обрадовался:

— О, ты пишешь книги! Значит, мы коллеги?!
Очень рад.

Уж не знаю даже, за кого он меня сначала принял. Наверное, за беглого хоккеиста по фамилии Могильный?..

В общем, успехи радовали. При том что хотелось бы знать, как это все отразится на гонорарах. Американские же гонорары непосредственно зависят от числа проданных книг. Автору идет восемь—десять процентов от стоимости экземпляра. За вычетом полученного вами ранее аванса.

Это только в СССР, насколько я знаю, платят за объем написанного. Кстати, не в этом ли причина традиционного российского многословия? Какой-нибудь московский автор, допустим, пишет:

«Евгений Федорович Терентьев, дородный мужчина лет шестидесяти четырех, проснулся среди ночи от грохота землечерпалки. Евгений Федорович раскрыл глаза, закашлялся, тронул небритую щеку и опять погрузился в сон».

Автор справедливо думает:

«Вычеркну-ка я этот дурацкий абзац. Зачем он нужен?!»

Но внутренний голос ему отвечает:

«Что ты делаешь, ненормальный? Ведь это же как минимум шесть рублей. Кило говядины на рынке...»

Не будем отвлекаться. В Америке гонорары непосредственно зависят от числа реализованных книг. И начал я тогда заходить в магазины. Особенно в «Барнс энд Ноубл», который рядом. Начал я следить, убывают ли мои пестрые книжки.

В первый же день компьютер указал: магазином заказано шесть экземпляров. Маловато, думаю. Расхватают за час. День спустя компьютер поделился: те же шесть экземпляров имеются в наличии. На пятый день — такая же картина. На шестой день произошла сенсация. Количество экземпляров резко сократилось от шести до пяти. Ликуя, я возвращаюсь домой. Вечером заходит мой отец, живущий по соседству. «Вот, — говорит, — приобрел твою книгу. От тебя ведь не дождешься. Подпиши».

Что ж, думаю. В Америке 4000 специализированных книжных магазинов. И еще 28 000 магазинов, где среди других товаров продаются книги. Если в каждый из них зайдет по одному моему родственнику, уже неплохо.

И еще я подумал: случись все это у меня на родине! Я выпускаю новую книгу. «Литературная газета», например, печатает восторженную статью Льва Аннинского, украсив ее моими детскими фотоснимками. Я мгновенно становлюсь знаменитым. Бываю в Доме творчества. Ужинаю в ЦДЛ с Юной Мориц. (Белла Ахмадулина рыдает от зависти.) Официант интересуется: «Над чем работаете, Сергей Донатович?» В общем, живу как человек. А здесь?

В Америке меня знают пять тысяч читателей, критиков и журналистов. Книги некоммерческие, «серьезные», расходятся микроскопическими тиражами. Переводные — тем более.

Тут уж не до славы. Спасибо, что вообще печатают. Есть люди гораздо более одаренные, которые совсем не издаются по-английски. Это, к примеру, Марк Гиршин, Наум Сагаловский, Вагрич

Бахчанян. Из журналистов — Петр Вайль, Александр Генис.

Да и вообще литература в Америке не такое уж престижное занятие. Писатель здесь не олимпиец, а чаще всего — бедный, мрачноватый человек. Владелец не самой редкостной профессии. Да и слово «писатель» воспринимается на Западе как-то иначе. Автор «Войны и мира» здесь — «писатель». И тексты на консервных банках создают — «писатели».

Однажды я спросил Воннегута, который живет между Лексингтон и Третьей:

— Вас, наверное, тут каждый знает?

Воннегут ответил:

— Десять лет я гуляю здесь с моим терьером. И хоть бы один человек закричал мне: «Ты Воннегут?!»

Известен ланчонет, где каждое утро можно встретить Исаака Башевиса Зингера. И ни одного поклонника кругом. А теперь представьте себе, москвичи вдруг узнают, где, допустим, опохмеляется Егор Исаев!

Войнович как-то раз приехал из Германии. Поселился в гостинице на Бродвее. И понадобилось ему сделать копии. Зашли они с женой в специальную контору. Протянули копировщику несколько страниц. Тот спрашивает:

— Ван оф ич? (Каждую по одной?)

Владимир Николаевич говорит жене:

— Ирка, ты слышала? Он спросил — «Войнович?» Он меня узнал! Ты представляешь?!.

Писателям, уезжающим в Америку, есть смысл задуматься:

«Зачем я еду? Чего добиваюсь? Какие преследую цели?»

Если кто-то гонится за деньгами, пусть не спешит. Если за славой — тем более. Лавры Бродского и Солженицына достаются здесь не каждому.

Всех писателей можно разделить на две категории. Для одних главное — высказаться. Вторые хотят быть еще и услышанными. Одни жаждут самовыражения, вторые еще и честолюбивы. Вторым на Западе приходится трудней.

Сам успех здесь не такой, как дома. На родине успех — понятие цельное, всеобъемлющее и однозначное. Охватывает все: известность, деньги, положение, комфорт. Плюс какие-то бесчисленные льготы. В Америке успех бывает самый разный. Например, коммерческий успех, далеко не всегда сопровождающийся известностью. Или, скажем, божественный успех, отнюдь не всегда подразумевающий деньги. Бывает успех среди критиков. Или, допустим, в академических кругах. И так далее. Тут можно быть знаменитым и нищим. И наоборот, безвестным, хоть и зажиточным.

В Америке успех и слава — не одно и то же. Успех и деньги — не синонимы.

Мой, скажем, вид успеха называется «critically acclaimed» — «отмеченный критиками». К деньгам это серьезного отношения не имеет. К славе — тем более.

Как-то раз я обедал с моим агентом. И вот решил спросить его:

— Эндрю! Я выпустил четыре книги по-английски. На эти книги было сто рецензий, и все положительные. Отчего же мои книги не продаются?

Эндрю подумал и сказал:

— Рецензии — это лучше, чем когда их нет. Сто рецензий — это лучше, чем пять. Положительные рецензии — это лучше, чем отрицательные. Однако все это не имеет значения.

— Что же имеет значение?

— Имя.

— Где же мне взять имя?! Я выпустил четыре книги. Все их хвалят. А имени все нет. Ну как же так?!

Эндрю снова задумался и наконец ответил:

— Ты хочешь справедливости? В издательском деле нет справедливости.

Из Америки — с любовью

В шестидесятые годы я был начинающим литератором с огромными претензиями. Мое честолюбие было обратно пропорционально конкретным возможностям. То есть отсутствие возможностей давало мне право считаться непризнанным гением. Примерно так же рассуждали все мои друзья. Мы думали: «Опубликуемся на Западе, и все узнают, какие мы гениальные ребята».

И вот я на Западе. Гения из меня пока не вышло. Некоторые иллюзии рассеялись. Честолюбие несколько улеглось. Зато я, кажется, начинаю превращаться в среднего американского литератора. В одного из нескольких американских беллетристов российского происхождения.

Мои книги публикуются и будут опубликованы все до единой. И я должен быть к этому готов. Потому что мои иллюзии собственной тайной гениальности рассеются окончательно.

Видимо, я окажусь средним писателем. Пугаться этого не стоит. Ведь только пошляки боятся середины. Именно на этой территории, я думаю, происходит все самое главное.

Я выпустил четыре книги. У меня есть договор на три последующие. Авансы будут составлять по двадцать тысяч. (Это втрое меньше, чем годовая зарплата нашего автомеханика Фимы Клейна.) О потиражных нечего и говорить. Если будет продано 5—6 тысяч экземпляров — уже хорошо. Тогда я получу аванс за новую книгу. А значит, надо кончать болтовню и писать эту следующую книгу. А потом еще одну. Так уж, видно, это и будет продолжаться до конца.

УМЕР БОРИС ШРАГИН

В Борисе Шрагине мне нравилось многое, начиная с его фамилии: Шрагин. В ней звучали и «брага», и «шпага», и «шарага», и какие-то решительные шаги. Было в ней что-то воинственное, и довольно воинственным человеком был сам Шрагин — диссидент, инакомыслящий, один из основателей правозащитного движения в Союзе.

И еще он был джентльменом — презирал душевную неопрятность, вступался за обиженных, причем не только на родине. Когда в одной эмигрантской газете появилась лживая и пошлая статья с нападка на священника Михаила Меерсона-Аксенова, Шрагин написал резкий ответ на эту статью, а когда тогдашний хозяин газеты отказался его напечатать, Шрагин сказал мне: «Уходи из этой богадельни». И я ушел из редакции, в которой проработал два года: не хотел выглядеть подонком в глазах Бори Шрагина. Так нас вроде бы связала судьба.

У Шрагина было много друзей, он любил их, и они его любили, и он иногда говорил мне: «Больше всех из диссидентов тебе бы понравился Юлька Даниэль — он был герой, человек чести, любил выпить, нравился женщинам».

Шрагин был энциклопедией правозащитного движения, которое он знал изнутри и которое во все не идеализировал: он цепко подмечал чело-

веческие слабости, умел смеяться над людьми и в первую очередь, конечно, над собой. Я часто говорил ему: «Напиши книгу о семидесятих годах, причем со всем смешным, забавным и нелепым, что было в вашей среде, — со всеми конфликтами, провалами и разочарованиями». И Шрагин хотел, а главное — мог написать такую книгу: у него была эрудиция, юмор, вкус к слову. Не случайно с ним долгие годы дружил Андрей Синявский, человек сложный, замкнутый и остроумный.

Шрагин был единственным знаменитым человеком другого поколения, с которым я сразу и легко перешел на «ты». Встречаясь и тут же закуливая, мы часто рассуждали о том, что неплохо бы бросить курить. В последнее время он хотел съездить в Москву, все говорил, что надо повидать Леонида Баткина, и уже даже начал собираться, но опять-таки не успел, не вышло, не получилось. Я надеюсь, что в Москву вернутся его книги и статьи, а главное — память об этом подлинном, храбром и чистом человеке.

КОММЕНТАРИИ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Д–2009 — Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. СПб., 2009.
МД — Малоизвестный Довлатов. СПб., 1995.
Переписка — Сергей Довлатов — Игорь Ефимов. Эпистолярный роман. М., 2001.
Письма — Довлатов С. Сквозь джунгли безумной жизни. Письма к родным и друзьям. СПб., 2003.
ПК — Довлатов С. Последняя книга. СПб., 2001.
СС — Довлатов С.Д. Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 2008 — с указанием тома.

Вошедшая в сборник филологическая проза Довлатова впервые (за исключением «Переводных картинок») печаталась в эмигрантских газетах и журналах. Ее републикация в СССР–России началась в журнале «Звезда», затем была продолжена в альманахе «Петрополь» (СПб., 1994), сборнике «Малоизвестный Довлатов» (СПб., 1995) и приложении к монографии И. Н. Сухих «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (СПб., 1996). В СС-4 вошло двадцать эссе из указанных изданий, но девять текстов остались за его пределами.

В этом издании вся печатавшаяся ранее в России филологическая проза Сергея Довлатова впервые собрана под одной обложкой. Тексты даются по указанным изданиям в хронологическом порядке. Первые публикации, там, где их удалось установить, указываются в начале каждого примечания.

Первое комментированное издание Сергея Довлатова выходит в демократической серии, что, разумеется, замечательно, но связано ограничениями по объему. Простой именной указатель к этому небольшому сборнику мог бы занять все отведенное для примечаний место. Поэтому, оставляя в стороне обще- и отчасти даже не общеизвестные имена и фамилии, представленные в довлатовских

списках, перечислениях и примерах, мы, помимо библиографических справок, ограничились раскрытием цитат, пояснением уже ушедших советских реалий, исправлением фактических ошибок (которые С. Д. считал частью своей поэтики), а также представлением авторов, о которых Довлатов писал специально.

Все остальное можно объяснить в собрании сочинений, которое, надеемся, тоже появится в обозримом будущем.

Уроки чтения

Эхо (Париж). 1978. № 3. С. 106—111.

Это — один из первых текстов Довлатова, написанный в эмиграции. «Вчера отослал статью в „Континент“. Называется „Уроки чтения“. О распространении нелегалщины в СССР», — написано жене 18 сентября 1978 г. (Письма, 1996). Здесь же упоминаются «два материала» для «Русской мысли».

С. 19. *...голосом знаменитого диктора Левитана...* — Юрий Борисович Левитан (1914—1983), диктор Всесоюзного радио, торжественным, металлически-бархатным голосом которого сообщалось о важнейших событиях в жизни СССР.

...успехи в деле многократного награждения товарища Брежнева орденом Ленина... — В 1970-е гг. руководитель СССР Леонид Ильич Брежнев (1906—1982) получал огромное число инспирированных им самим наград (орденов Ленина у него было восемь), что служило поводом для столь же бесчисленных насмешек и анекдотов.

С. 20. *В «Континенте» появляется мой рассказ.* — Первая публикация Довлатова — рассказ «По прямой», позднее ставший заключительной главой «Зоны» (Континент. 1977. № 11).

Заглянул на книжный рынок. — Как правило, книжные рынки стихийно возникали по выходным на окраинах города (в Ленинграде — в Дачном или Ульянке), здесь можно было по высоким ценам купить книги, отсутствующие

в магазинах и библиотеках; самиздат и тамиздат там, как правило, не продавали, эта опасная литература распространялась по другим каналам.

С. 21. *...стал печатать записки Лосева.* — Очерки поэта и литературоведа Льва Владимировича Лосева (настоящая фамилия Лифшиц, 1937—2009) позднее составили книгу «Закрытый распределитель» (Анн Арбор, 1984), ее обложку оформил Довлатов.

В Ленинграде шутили: «Почти однофамилец, „НО“ мешает...» — Если выбросить НО, фамилия превращается в *Сахаров*: Андрей Дмитриевич Сахаров (1921—1989) в 1970-е гг. — один из двух главных советских диссидентов (наряду с Солженицыным).

Рыжий

Эхо (Париж). 1979. № 1.

Эссе посвящено ленинградскому поэту Владимиру Иосифовичу Уфлянду (1937—2007), которого причисляют к так называемой «филологической школе». Ему принадлежат два (отчасти совпадающих) мемуарных очерка о Довлатове: «Мы простились, посмеиваясь» (МД, 433—437) и «Утром на „вы“ вечером на „ты“» (ПК, 431—445).

В последнем публикуется написанное в Таллине шуточное довлатовское «Послание к Уфлянду». Тем не менее в нем мелькнул афоризм, позднее перешедший в «Зону»: «Мой стих однообразен, / А мир разнообразен, / Он в нас самих. И это *сущий ад*» (ПК, 442).

В довлатовской прозе два «Рыжих»: в «Невидимой книге», в соответствии со сложившейся традицией (Ахматова: «Какую биографию делают рыжему»), так называется главка об Иосифе Бродском.

С. 28. *...Экспонирует свои рисунки в Эрмитаже...* — «В Эрмитаже в 1964 году вместе с Мишей Шемякиным, Володи Овчинниковым, Олегом Лягачевым и Валерой Кравченко участвовал в первой в мире запрещенной выставке художников — рабочих Эрмитажа» (В. Уфлянд. Автобиография).

С. 28. *...В целом люди прекрасны.* — Из стихотворения «Исповедальная поэзия зоны» (1957).

Есть такое филологическое понятие — сказ. Это когда писатель создает лирического героя и от его имени высказывается. Так писал Зощенко (не всегда). — Довлатов совмещает два разных понятия. Образ лирического героя (этот термин обычно применяют к лирике), действительно, создается, для того чтобы высказываться от его имени. Сказ же, напротив, установка на чужое слово, словесная маска, объективация чуждого, далекого от автора персонажа. В сказовой манере автор через героя не исповедуется, но его исследует.

...Каждый Богу помогает... — Из стихотворения «Юрию Константиновичу Рыбникову» (1966). «Лучший друг Уфлянда, Юра Рыбников, поклонник А. К. Толстого, ученик В. Проппа, егерь-натасчик собак, тоже служил в экскурсоводах» (К. Кузьминский. Уфлянд).

С. 29. *...Неверностью итогов в каждой смете...* — Из стихотворения «Смерть бюрократизму» (1958).

...Что делать, если ты художник слабый? — Цитата из стихотворения «Себе» (1957).

...Она меня за жадность презирает... — Из стихотворения «Проснулись Игорь и Антон...» (1957).

С. 30. *Отца и мать, я помню...* — Из стихотворения «Жалобы людоеда» (1974).

С. 31. *Наконец-то появилась эта книжка.* — Имеется в виду книга В. Уфлянда «Тексты 1955–77» (Анн Арбор, 1978). Все стихотворные цитаты, кроме «Жалоб людоеда», приводятся из нее. В 1990-е гг. в России появилось еще несколько стихотворных и прозаических сборников Уфлянда, в которые в том числе включались и ранние стихи. Наиболее полное издание — «Рифмованные упорядоченные тексты» (СПб., 1997).

А чем ты думаешь заняться... — Цитата из стихотворения «Ему» (1956).

Написано в 1980 г.

Первая публикация не установлена.

Рецензия на книгу «ЦДЛ» (1979) Льва Яковлевича Халифа (род. 1930), эмигрировавшего в США в 1977 г. Он упоминается в довлатовских записных книжках и очерке «Переводные картинки» (см. ниже). В России книга переиздана с предисловием Довлатова (Екатеринбург, 2001).

С. 34. «*Метрополь*» — бесцензурный литературный альманах 24 авторов, в котором участвовали как известные писатели (А. Вознесенский, А. Битов, Ф. Искандер), так и не публикуемые в советской печати (Ю. Алешковский, В. Высоцкий). Был издан самиздатовским способом (1979), а затем, после огромного общественного скандала, и в там-издате (Анн Арбор, 1979). После этого составители альманаха Вик. Ерофеев и Е. Попов были исключены из Союза писателей, а В. Аксенов вскоре эмигрировал.

Действительно, единица измерения прозы Халифа — метафора, то и дело возвышающаяся до афоризма. — На самом деле в приводимых далее примерах метафор практически нет. Они строятся на каламбурах, обыгрывании известных афоризмов советской эпохи.

С. 35. «*...Дрейфус умер, но дело его живет...*» — Перефразирование известного советского лозунга: «Ленин умер, но дело его живет». Фамилия дополнительно обыгрывает еврейскую проблематику: французский капитан Альфред Дрейфус (1859—1935), еврей по происхождению, в 1894 г. был осужден пожизненно по сфабрикованному обвинению за шпионаж в пользу Германии. Процесс Дрейфуса расколол как французское (в защите Дрейфуса огромную роль сыграл Э. Золя), так и русское общество, в частности привел к расхождению Чехова с А. С. Сувориным, проявившим в освещении дела Дрейфуса в своей газете явный антисемитизм. В совместном сборнике В. Бахчаняна, С. Довлатова и Н. Сагаловского «Демарш энтузиастов» (Париж, 1985) есть афоризм В. Бахчаняна: «Бейлис умер,

но дело его живет!» (С. 114). Вопрос о приоритете остается открытым.

С. 35. *...Всякую колыбель — даже революции — надо раскачивать...* — Колыбелью революции обычно называли Ленинград.

...Тут и «Доктор Живаго» Пастернака. И «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына... Да и эта — моя — туда встает. — Пока не встала. Переиздание книги в России с этой заметкой Довлатова в качестве предисловия (Екатеринбург, 2001) анонимный рецензент «Литературной газеты» оценил как «длинный-предлинный фельетон о литературных нравах».

Используя формулу Станиславского, Халиф не себя почитает в литературе. А литературу — в себе и других. — В оригинале афоризм Станиславского звучит так: «Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве».

«Солженицын — единственный в мире изгнанник — нобелевский лауреат». То есть как? А Бунин? А Томас Манн? — Исправляя Халифа, Довлатов сам допускает неточность. Бунин действительно получил Нобелевскую премию в эмиграции (1933). Томас Манн был удостоен Нобелевской премии в 1929 г., когда изгнанником еще не был: он уехал из Германии в соседнюю Швейцарию лишь после прихода к власти Гитлера, а в США перебрался в 1938 г.

С. 36. *Я благодарен Халифу за несколько страниц о родном и забываемом Ленинграде. За «Сайгон» и за «Ольстер». За «Маяк» и за «Жердь».* — Довлатов перечисляет ключевые для культуры андеграунда ленинградские топонимы. «Сайгон» — кафе на углу Невского и Владимирского проспектов (д. 49/2), открывшееся в 1964 г. и на два десятилетия ставшее любимым местом ленинградской богемы. О нем недавно выпущена огромная книга: Сумерки Сайгона / Сост. Ю. М. Валиева. СПб., 2009. В Ленинграде Довлатов Сайгон не жаловал, хотя жил в трех кварталах от него. «Ольстер» — бар на углу улицы Марата и Невского (Невский проспект, д. 71), в квартале от «Сайго-

на»; «поэты бывали там редко, — бар заполнила фарция, у которой, в отличие от поэтов, деньги водились» (К. Кузьминский. Поэты и кафе-шалманы). «Маяк» — в петербургском культурном жаргоне обозначение станции метро «Маяковская», выход из которой находится возле «Ольстера». На Красной (Галерной) улице существовал также клуб «Маяк» (д. 33), где работала хореографическая студия, а выступали рок-музыканты. «Жердь» — по устным свидетельствам, металлическое ограждение витрин Елисеевского магазина (Невский пр., д. 56), место, где назначались свидания и велись деловые переговоры. Упоминается в начале «Чемодана» (рассказ «Финские креповые носки»): «Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина»).

Верхом на улитке

Новый американец. 1980. № 6. 21—27 марта.

Эссе посвящено художнику Михаилу Михайловичу Шемякину (род. 1943), одному из самых известных представителей русского художественного авангарда, в эмиграции с 1971 г. В «Записных книжках» есть два анекдота о нем.

С. 38. *CXIII* — средняя художественная школа.

Метафизический синтетизм. — В программе художественной группы «Петербург» (1967), написанной В. Ивановым и М. Шемякиным, принципы этого направления определялись следующим образом: «В первой главе было указано пять способов символизации — сочетания несочетаемого в сфере оптических представлений. ПЯТЫЙ СПОСОБ — МЕТАФИЗИКО-СИНТЕТИЧЕСКИЙ — есть как бы точка равновесия между сюрреалистическим способом, действующим через автоматизм подсознательного, и нигилизмом, с полным сознанием строящим свои сочетания несочетаемого, исходя из принципа Абсурда и Ничто. Эти принципы — Сцилла и Харибда, между которыми проплывает корабль метафизического синтетизма. И тот и другой принцип основываются на отрицании реального

бытия Красоты. Цель их свободы в сочетании несочетаемого — это свобода от Красоты. Ибо Красота Воскресения спасает мир от смерти. <...> Но если сюрреализм и нигилизм основывают свою свободу на забвении Лица Единого Бога, то метафизический синтетизм полагает свою свободу в служении Христу и видит высшую цель искусства в теургическом создании иконы».

С. 39. «Москва—Петушки» (1969) — поэма (авторское определение) Венедикта Владимировича Ерофеева (1938—1990), которую Довлатов в одном из писем назвал «гениальной книгой» (Письма, 201). См. также: Сухих И. Довлатов и Ерофеев: соседи по алфавиту // Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. Изд. 2-е. СПб., 2006. С. 222—228).

С. 40. *Можно всю жизнь, подобно Илье Глазунову, копировать русские иконы.* — Илья Сергеевич Глазунов (род. 1930) — русский художник, вечный борец с модернизмом, его плоскостная декоративная живопись действительно напоминает иконопись.

Последний чудак

Написано, вероятно, в 1980 г., осенью (герой очерка умер в Иерусалиме 16 сентября).

Первая публикация не установлена.

Эссе посвящено Давиду Яковлевичу Дару (настоящая фамилия Ривкин, 1910—1980). Он участвовал в знаменитой поездке писателей по Беломорканалу, воевал и был тяжело ранен, много общался с молодыми авторами, выступал в защиту Бродского и Солженицына, в 1977 г. был вынужден эмигрировать в Израиль, перед отъездом вернув властям боевые награды и билет Союза писателей. Был третьим мужем знаменитой советской писательницы Веры Федоровны Пановой (1905—1973), о которой в справочной статье сказано: «Современному читателю она знакома как персонаж и учитель Сергея Довлатова, ее собственные книги сегодня читают мало. На самом деле эта женщина была классиком советской литературы, писа-

тельницей, чьи книги были любимы и интеллектуальной элитой, и массовым читателем».

Произведения и воспоминания о Д. Я. Даре включает изданная бывшими учениками книга «Дар» (СПб., 2005).

С. 41. *Вахтин Борис Борисович* (1930–1981) — писатель и филолог-востоковед, сын писательницы В. Ф. Пановой, его отец, журналист Борис Вахтин, в 1936 г. погиб в лагере; один из создателей литературной группы «Горожане», о которой Довлатов рассказывает в «Невидимой книге», участник альманаха «Метрополь» (см. примеч. на с. 223).

С. 43. *Хорошо быть Даром...* — Единственный намек на авторство эпиграммы есть в книге Аси Пекуровской: «От Доната к Сереже перешла пародия на Дара, приписывавшаяся Соллертинскому, но, по убеждению Доната, принадлежавшая какому-то другому автору: „Хорошо быть Даром, /получая даром / каждый год по новой / повести Пановой“» (*Пекуровская А.* Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб., 2001. С. 145). В антологии «Эпиграмма» (М., 2005) она приведена как анонимная (С. 338).

Выступления на конференции «Третья волна. Русская литература в эмиграции» (1981)

Круглый стол «Две литературы или одна?»

Групповая дискуссия «Эмигрантская пресса»

«Как издаваться на Западе?»

Круглый стол «Будущее русской литературы в эмиграции»

The Third Wave: Russian Literature in Emigration. Ann Arbor, 1984. P. 37–39, 164–167, 235–243, 287–289.

Конференция состоялась в Лос-Анджелесе 14–16 мая 1981 г. На ней было сделано несколько индивидуальных научных докладов (главный — «Две литературы или одна?» Андрея Синявского) и писательских самоотчетов («Аксенов о себе» и пр.), а также состоялись два «круглых стола» и групповая дискуссия. Свои материалы Довлатов первоначально успел напечатать в «Новом американце».

Первое и последнее выступления были объединены под заглавием «Писатель в роли Кассандры. Выступление на пресс-конференции в Лос-Анджелесе» (Новый американец. 1981. № 69. 7—13 июня). Размышления об эмигрантской прессе опубликованы еще раньше: «Продолжение „Невидимой книги“. Выступление на международной конференции „Литература в эмиграции: третья волна“ 16 мая 1981 г.» (Новый американец. 1981. № 57. 24—30 мая). Эти тексты отредактированы в привычной довлатовской манере: убраны уступительные конструкции, текст разбит на небольшие абзацы и короткие предложения, добавлены некоторые актуальные параллели. Публикация в сборнике представляется правленной стенограммой, в большей степени сохраняющей особенности устной речи автора, поэтому мы предпочитаем ее. Тексты из «Нового американца» недавно переизданы в России и легко доступны; см.: Довлатов С. Речь без повода... или Колонки редактора. М., 2006. С. 243—253, 257—261.

С. 60. «„Эрика“ берет четыре копии...» — знаменитый афоризм из песни Александра Галича «Мы не хуже Горация» (1966), ставший девизом самиздата. «Эрика» — пишущая машинка производства ГДР (Германской демократической республики), на которой размножали самиздатские тексты; при большом усилии она могла взять и шесть копий.

С. 67. *Курт Воннегут тоже ругал «Ньюйоркер».* — Курт Воннегут (1922—2007) — американский писатель, хорошо известный в 1970—1980-е гг. в СССР. Довлатов брал у него интервью (Новый американец. 1982. № 101. 15—21 января). Вероятно, в результате этой встречи появилось короткое письмо от 22 января 1982 г., в котором Воннегут шуточно критиковал журнал «Ньюйоркер», не печатающий его, но сразу опубликовавший «прекрасный рассказ „По прямой“, «глубокое и общезначимое произведение» «коллеги»; Довлатов пытался использовать отзыв в рекламных целях (см.: Переписка, 161—162, 377—378). Однако в конце того же года, 24 декабря 1982 г., в письме знакомой в СССР Довлатов с обидой обозначает

грань отношений с известным американцем: «Я, например, дружу с Воннегутом, он хорошо к нам относится, неоднократно и в разных формах выражал свою литературную симпатию, но когда у него было 60-летие (Воннегут похож на страшно истаскавшегося 20-летнего студента), он позвонил и сказал: „Приходи в такой-то ночной клуб к одиннадцати, когда все будут уже пьяные...“ То есть на торжественную часть меня не пригласили, там была публика другого сорта — бизнесмены, ученые, киношники, а меня позвали как бы с черного хода, и это не оскорбление, он совершенно не имел в виду меня обидеть, он просто выразил с большей или меньшей точностью уровень наших отношений» (Письма, 313).

С. 68. *Недавно я прочел такую фразу у Марамзина...* — Источник цитаты не установлен.

С. 69. *Лужин... Гумберт... Мартын Эдельвейс* — персонажи романов Набокова «Защита Лужина» (1929—1930), «Лолита» (1955) и «Подвиг» (1932).

С. 73. *Я недавно прочел книжку Лотмана о «Евгении Онегине».* — Имеется в виду книга: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980. Пересказываемый Довлатовым фрагмент комментария к строфе XVI первой главы: «Страсбурга пирог — паштет из гусиной печенки, который привозился в консервированном виде (нетленный), что было в то время модной новинкою (консервы были изобретены во время наполеоновских войн)».

Проза Солженицына выше прозы Георгия Маркова именно качеством, даже неловко произносить, настолько это ясно. — «Властитель дум» А. И. Солженицын противопоставляется Григорию Мокеевичу Маркову (1911—1996), плодовитому романисту, в течение многих лет бывшему официальным писательским властителем, Первым секретарем Союза писателей СССР (1971—1989); его книги издавались огромными тиражами, но были постоянным объектом насмешек в неофициальной среде. В перепечатанной версии «Нового американца» Марков заменен малопонятным Леонидовым (Речь без повода. С. 260). Возможно, это

опечатка и речь должна идти о Леонове, хотя как нарицательное обозначение писательской бездарности его имя представить трудно.

Литература продолжается

Новый американец. 1981. № 74. 12—18 июля.

Синтаксис. Париж. 1982. № 10.

Этот дважды напечатанный очерк стал одной из важных ступеней на пути к «Филиалу». Многие детали, описание атмосферы конференции в юмористически шаржированном тоне в очерке и повести совпадают. Но реальные фамилии очерка в повести прозрачно завуалированы (Коржавин — Ковригин, Синявский — Беляков), появляется новая лирическая сюжетная линия, тоже связанная с реальным прототипом: довлатовский псевдодокументализм торжествует.

С. 76. ...*А значит, никто никого не обидел, и литература продолжается...* — Любимая, неоднократно цитированная Довлатовым перифраза из документальной книги М. Зощенко «Письма к писателю» (1929): «Все спокойно, дорогой товарищ! Никто никого не оскорбил. Литература продолжается» (глава «Человек обиделся»). В другой главе этой книги Зощенко отвечает на письмо некоего Доната Весеннего, возможно, это отец писателя Донат Исаакович Мечик (1909—1995). «По семейному преданию, Донат дебютировал как пародийный и комический автор под псевдонимом „Донат Весенний“ и был замечен пародируемым им Михаилом Михайловичем Зощенко, который первым делом посоветовал Донату сменить псевдоним. Знакомство Доната с Зощенко, начавшееся в двадцатые годы, закончилось одиноким прощанием у гроба опального писателя» (*Пекуровская А.* Когда случилось петь С. Д. и мне. СПб., 2001. С. 144).

Мной овладело беспокойство. — Перефразированная строка «Евгения Онегина»: «Им овладело беспокойство, / Охота к перемене мест» (гл. 8, строфа XIII).

С. 82. *Старик Коржавин нас заметил.* — Снова перефразирование «Евгения Онегина»: «Старик Державин нас заметил...» (гл. 8, строфа II).

С. 83. *Была в старину такая газета — «Копейка». Однажды ее редактора Пастухова спросили: «Какого направления придерживается ваша газета?» Пастухов ответил: «Кормимся, батюшка, кормимся...»* — Журналист и писатель Николай Иванович Пастухов (1831—1911) издавал на самом деле «Московский листок» (с 1881 г.), который в конце концов сделал его миллионером. Цитируемую фразу он будто бы произнес в разговоре с московским генерал-губернатором. «Газета-копейка» издавалась в Петербурге (с 1908 г.) М. Б. Городецким и В. А. Анзиминовым, а потом и в других городах и действительно стоила копейку (против пяти копеек других газет).

Блеск и нищета русской литературы

Новый американец. 1982. № 111. 30 марта — 5 апреля. С. 12—15.

Лекция, прочитанная 19 марта 1982 г. в университете Северной Каролины.

С. 96. *Фосет Фара* (1947—2009) — американская фотомодель и телевизионная актриса, которую называли секс-символом 1980-х гг.

Али Мухаммед (настоящие имя и фамилия Кассиус Клей, род. 1942) — знаменитый боксер, чемпион Олимпийских игр в полутяжелом весе (1960).

Зингер Айзек (Исаак) Башевис (1904—1991) — еврейский писатель, живший в США и писавший на идиш, лауреат Нобелевской премии (1978).

С. 97. *Вяземский в своем письме к Пушкину говорит...* — На самом деле это перифразированная цитата из статьи Петра Андреевича Вяземского (1792—1878) «О жизни и сочинениях В. А. Озерова» (1817): «Обязанность его <трагика> и всякого писателя есть согреть любовью к добродетели и воспалить ненавистью к пороку, а не заботиться о жребии и приговоре провидения».

С. 98. *На что Пушкин уверенно и резко отвечает...* — Пушкин оставил свое мнение тоже не в письме, а на полях

статьи Вяземского (1826, опубликовано в 1897): «Ничуть. Поэзия выше нравственности — или по крайней мере совсем иное дело».

С. 101. *...критик Михайловский даже предрекал ему голую смерть под забором.* — Во-первых, пророчество связывают с именем не Михайловского (который тоже скептически отзывался о творчестве Чехова), а другого критика — Александра Михайловича Скабичевского (1838—1910). Во-вторых, в рецензии на «Пестрые рассказы» (1886) это мнение было изложено довольно мягко (речь шла о печальной судьбе любого газетного писателя) и получило шаржированный, гротескный характер в воспоминаниях самого Чехова, записанных современниками (прежде всего Буниным).

С. 102. *Гамлет восклицает: «Что же это я, как шлюха, душу свою выражаю в словах...»* — В переводе М. Лозинского этот фрагмент выглядит так: «Как это славно, / Что я, сын умерщвленного отца, / Влекомый к мести небом и геенной, / Как шлюха, отвожу словами душу / И упражняюсь в ругани, как баба, / Как судомойка!» (акт 2).

С. 108. *Томас Манн однажды высказался следующим образом: «Немецкая литература там, где нахожусь я».* — Этот афоризм обнаружить не удалось. Возможно, как и в других случаях, Довлатов свободно перефразирует. Сходные по смыслу слова Т. Манн будто бы произнес, отвечая на вопрос американского корреспондента, не скучает ли он без родины: «Где я, там и Германия» (по другой версии, это дневниковая запись 1938 г.). В романе «Лотта в Веймаре» (гл. 7) похожая мысль принадлежит Гёте: «Германия — это я. И если она погибнет, то будет жить во мне».

<Послесловие к книге Н. Сагаловского «Витязь в еврейской шкуре»>

Сагаловский Н. Витязь в еврейской шкуре. Нью-Йорк: Dovlatov's Publishing., 1982. Последняя страница обложки (без заглавия).

Довлатов обозначен также как редактор и издатель этого стихотворного сборника.

С. 110. *Сагаловский Наум Иосифович* (род. 1935) — инженер, в эмиграции с 1979 г., живет в Чикаго, автор многочисленных юмористических и иронических стихотворений. В краткой автобиографии представляется: «Старший инженер человеческих душ. Лауреат квартальных премий».

Вместе с Довлатовым и В. Бахчаняном издал сборник «Демарш энтузиастов» (Париж, 1985) и еще три книги. Опубликовано 15 писем Довлатова Сагаловскому 1983—1988 гг. (Письма, 215—245). (Это лишь часть их десятилетней переписки, неопубликованные фрагменты которой в дальнейшем цитируются с любезного разрешения Н. И. Сагаловского.) В одном из писем (24 февраля 1984 г.) Довлатов, словно вдогонку послесловию, дает «в двух словах» конспект «филологического трактата» «Главное противоречие творчества Сагаловского»: «Ваши вещи по внешнему облику, по костюму, так сказать, абсолютно демократические, вроде бы — для народа, такой еврейский Демьян Бедный, то есть фразеология, синтаксис и прочая внешняя атрибутика — народные, массовые, но! — оценить Ваши вещи, я уверен, способны только чрезвычайно интеллигентные люди. В результате народ, условно — Брайтон-Бич, удивляется — почему нет мата и смака, где тетя Хая с китайцами, яйцами и прочими делами, где антисоветские частушки и так далее, а интеллигенция (средняя, нормальная, не такая изысканная, как мы с Вами) смущена внешне народной формой, наличием если не тети Хаи, то Рабиновичей, Кацев и некоторых фривольностей» (Письма, 224).

Публикационный бум перестроечных лет практически не отразился на судьбе Сагаловского, его «бумажные» публикации немногочисленны. Однако на сайте «Стихи. ру» есть большая, регулярно пополняемая подборка, в том числе «небольшой роман в стихах» «Приключения Гольдензона Крузо», посвященный «памяти замечательной газеты „Новый американец“» (1982), а также стихотворение «Памяти Сергея Довлатова» (1991). Цитируем заключительные строфы:

На той земле, где нищи мы и голы,
где именем Твоим ласкают слух,

мои несовершенные глаголы
не жгли сердец, прости меня, Главбух...

И, преисполнен высшей благодати,
седой Главбух, суров и отрешен,
прочтет мой труд и вечное «К оплате»
напишет в уголке карандашом.

Я скромной благодарностью отвечу
и в дальний путь направлюсь не спеша.
И явится моей душе навстречу
Довлатовская грешная душа.

Обнимемся и станем в райских куцах
вести неторопливый разговор.
Куда спешить? Уже ни дел текущих,
ни суеты — свобода и простор.

Уже плевать на славу и на сплетни!..
Он будет возвышаться надо мной —
все тот же, сорокадевятилетний,
каким ушел когда-то в мир иной.

Он скажет: «Не забыли — ну и ладно.
Простим и ничего не возомним».
И станет мне покойно и отрадно
от мысли, что опять я рядом с ним...

Пусть торопить свиданье неуместно,
но где-нибудь за далью голубой,
мой друг, и для меня найдется место,
и мы еще увидимся с тобой...

С. 110. «*Витязь в еврейской шкуре*» — перефразирование заголовка знаменитой поэмы грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.).

С. 111. *Вернее, он написал мне письмо.* — Письмо Н. И. Сагаловского в редакцию «Нового американца» (1980) включало и цитируемое далее четверостишие:

Уважаемые мистеры!

Как новый американец и подписчик Вашей (нашей) газеты, замечаю недостаток свежих сил на страницах послед-

ней, с целью искоренения какового и прилагаю ряд высокохудожественных произведений малоизвестного автора, а именно себя (далее предложение не выкручивается).

Если это не годится для печати, прошу просто принять в подарок — на добрую, долгую память.

О себе — не состоял, еврей, почти год, бывает всяко, Киевский ОВИР, жена, дети, теща, американо <рынок в Риме. — *Н. С.*>, друг в Чикаго, ах, Америка, три бедрума, газолин дорожает, а что я тебе говорила?..

Давайте дружить. Поэты — пусть они и плохи — необходимы Вам, как свет. Поэт всегда — продукт эпохи, а без продуктов жизни нет.

С уважением,

Наум Сагаловский (Чикаго).

Против течения Леты

Звезда. 1991. № 9.

Рецензия, вероятно, написана в 1983 г. вскоре после публикации книги Яновского.

С. 113. *Яновский Василий Семенович* (1906—1989) — писатель, врач. Родился в Полтаве, в 1922 г. нелегально перешел советско-польскую границу, с 1926 г. жил в Париже, с 1942 г. — в США. Относится к так называемому «незамеченному поколению». Романы и повести Яновского «Колесо» (1930), «Челюсть эмигранта» (1957) не вызвали особого резонанса. Наибольшую известность приобрела как раз рецензируемая Довлатовым мемуарная книга «Поля Елисейские» (Нью-Йорк, 1983) — желчный, язвительный рассказ о жизни русской литературной эмиграции в Париже в «Замечательное Десятилетие» (авторское определение) перед Второй мировой войной. Переиздана с предисловием Довлатова (СПб., 1993). Наиболее полное издание, куда входят и «Поля Елисейские»: *Яновский В. С. Сочинения: В 2 т. М., 2000.*

Есть сведения о встречах Довлатова с Яновским: «К нему приходил в гости Довлатов, который, по словам той же Изабеллы <жены Яновского>, „выпивая водку, вставал и по-гусарски выворачивал локоть“» (*Ровнер А.* Листок, поднятый во время прогулки. Главы из книги воспоминаний).

В письме от 21 марта 1983 г. сохранились краткие взаимоотношения: «Пóляк готовит сенсационную книгу воспоминаний Яновского „Поля Елисейские“, о первой эмиграции. Я один раз заглянул Лене через плечо в текст и увидел, что Цветаева названа „Дурехой“, абзац же про Бунина начинается словами: „Как всякий эпигон...“ <...> Две мои книжки он прочел и впечатления выразил кратко: „Очень много воды...“ Тем не менее он нам с Леной нравится, потому что он — один из немногих русских эмигрантов, которые за шестьдесят лет жизни на западе стали наконец похожи на интеллигентных иностранцев» (Переписка, 242).

«Один раз» — вероятно, довлатовская мистификация, и книга была если не прочитана, то внимательно просмотрена. Упоминаемые фрагменты разделяет почти сто страниц, и расположены они в обратном порядке. «Среди эпигонов за рубежом он воистину был самым удачным» (Яновский В. Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 134). «Я постепенно начал считать ее в каком-то плане дурехой, что многое объясняло» (Там же. С. 221). В дальнейшем, кстати, первоначальные оценки существенно корректируются мемуаристом: рассказывая о последней встрече с Цветаевой перед отъездом в СССР, он называет ее «упрямой, несчастной, замечательной женщиной» (Там же. С. 227).

О чтении последним довлатовским автопсихологическим персонажем, Григорием Борисовичем Кошицем, «сенсационных мемуаров Яновского» упомянуто и в рассказе «Игрушка» (СС-3, 529).

Ключевая метафора рецензии уже была использована в стилизованной газетной заметке, предваряющей двенадцатую главу «Компромисса» и будто бы опубликованной в газете «Советская Эстония» в октябре 1976 г. под заглавием «Память — грозное оружие»: «...Испокон века против течения Леты движется многоводная и неиссякаемая река человеческой памяти...» (СС-1, 448).

С. 115. *«Я должен вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если я буду о мертвых повествовать, как о живых».* — Этот эпиграф-афоризм Яновского кажется перевертышем парадокса Г. К. Честертона (1874—1936): «Перестаньте хоть на время читать то, что пишут живые

о мертвых; читайте то, что писали в живых давно умершие люди» («История против историков»).

С. 115–116. *Таким образом, Яновский избегает... «хрестоматийного глянца»...* — Школьный образ из стихотворения В. В. Маяковского «Юбилейное» (1924), посвященного Пушкину; «Я люблю вас, но живого, а не мушью. / Навели хрестоматийный глянец».

From USA with love

Семь дней. 1984. № 38. 20 июля. С. 6–8.

В сокращенном и переработанном виде эссе под заглавием «Из Америки — с любовью» вошло во вторую часть «Ремесла» (СС-2, 202–205).

С. 121. *Кранц Джудит* (род. 1928) — американская коммерческая писательница, автор бестселлеров, многие из них экранизированы. Довлатов упоминает о ней также в интервью журналу «Слово» «Писатель в эмиграции» в ряду «поставщиков всяческой макулатуры» (СС-4, 461)

Переписка из двух углов

Семь дней. 1984. № 40. 3 августа. С. 32–33.

Публикация сопровождалась следующим, вероятно редакторским (редакторы: П. Вайль и А. Генис) предисловием: «Сегодня мы открываем новый раздел в журнале — „Литературные заметки“. Мы будем рассказывать читателю о новых русских книгах, вышедших на Западе. Мы не будем останавливаться на самых выдающихся произведениях — они и без нас хорошо знакомы читающей публике — и не станем уделять внимания книгам многочисленных графоманов. В поле нашего зрения окажутся книги, представляющие несомненную ценность, но в то же время по разным причинам ускользнувшие от внимания широкой аудитории».

«Литературные заметки» стали авторской рубрикой Довлатова в журнале «Семь дней», под ней появились последующие публикации. Заглавие повторяет название книги Вяч. Иванова и М. Гершензона (1921).

Рецензия на кн.: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик: переписка 1915—1930 / Сост., подг. текста, введение и комментарии Бенгта Янгфельдта. Стокгольм, 1982.

В предшествовавшей рецензии письме И. Ефимову 23 декабря 1983 г. Довлатов давал очень жесткую оценку главным героям книги: «Читали ли Вы книгу какого-то шведа „Переписка Маяковского и Л. Брик“? Это нечто уникальное по пошлости! Он дает несколько факсимильных копий, а в остальном сохраняет грамматику и пунктуацию оригиналов: это кошмарная переписка двух безграмотных, ничтожных существ. Абсолютно невозможно поверить, что Маяковский написал хотя бы „Левый марш“...» (Переписка, 288).

Однако полугодом ранее в письме матери Л. Штерн 9 июня 1983 г. Довлатов, напротив, защищает имя поэта от недобросовестных мемуаристов и злобных нападок: «...Хочу поблагодарить Вас за отповедь Майе Муравник в связи с ее бреднями о Маяковском. Все публикации такого рода основаны на хамском стремлении навязать большому человеку параметры собственной личности, востребовать от него соответствия нашим, как правило — убогим моделям, беззастенчиво взятым за образец. Маяковский, например, следуя эмигрантским критериям, должен был написать похабные частушки о Ленине, распространить их в „самиздате“, затем попросить политического убежища во Франции и оттуда по западному радио героически критиковать советскую власть. Майя... никогда не поймет, что Маяковский служил не советской власти, а своему огромному пластическому дару, служил неправильно, ложно, и решился на такую для себя меру наказания, каковой не потребовал бы для него ни один из самых железных оппонентов...» (Письма, 175).

Чернеет парус одинокий

Семь дней. 1984. № 46. 21 сентября. С. 6—7.

Заглавие перефразирует первую строку стихотворения Лермонтова «Парус», ставшую названием известного романа В. Катаева (1936).

Место Валентина Петровича Катаева (1897—1986) в литературном пейзаже советской эпохи было парадоксальным. Являясь частью официозной писательской номенклатуры (член КПСС, орденоносец, Герой Социалистического Труда, автор книги о Ленине), он в то же время был главным редактором журнала «Юность» (1955—1961), где печатал талантливую либеральную молодежь, и автором свободной ассоциативной прозы в духе придуманного им «мовизма» (от *фр.* mauvais — плохой, дурной): «Святой колодец» (1967), «Трава забвенья» (1967), «Алмазный мой венец» (1978). Может быть, этой двойственностью и объясняется резкость довлатовских оценок.

С. 132. ...сочинял всякое конъюнктурное барахло вроде романа *«Время, вперед!»*... — Написанный по следам событий (1932), катаевский роман был посвящен актуальной теме социалистического строительства и социалистического соревнования. Конъюнктурная тема, впрочем, сочеталась в нем с авангардной монтажной поэтикой.

С. 133. *Еще Иван Алексеевич Бунин, ценя дарование молодого Катаева, с изумлением восклицал...* — Господа, этот парень сделан из конины!.. — Реплика, возможно, апокрифическая. Однако в одесском дневнике Бунина (25 апреля 1919 г.) есть и более резкий пример: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: „За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...“»

Записки чиновника (1984)

Семь дней. 1984. № 47. 28 сентября. С. 14—15.

Предисловие к публикации в журнале рассказа Ф. Кафки «Приговор».

В оглавлении эссе сопровождается подзаголовком «Как удалось Францу Кафке предугадать наш мир?».

Через год в письме Н. И. Сагаловскому (15 ноября 1985 г.) Довлатов вновь вспоминает о Кафке: «Читал ли

ты, например, гениальное письмо (оно издано отдельной книжкой) Кафки — отцу?»

По свидетельству А. Арьева, Кафка чрезвычайно интересовал Довлатова и позднее. «В дни нашей последней нью-йоркской встречи (ноябрь 1989 года) Сережа несколько раз заговаривал со мной о Кафке. С оттенком тревожного недоумения он признавался, что этот автор все больше захватывает его воображение. „Конечно, принято считать, — усмехался он, — что Кафка — не довлатовского ума дело. Да, помнишь, мы ведь и сами орали на филфаке: «Долой Кафку и Пруста! Да здравствуют Джек Лондон и Виталий Бианки!» Теперь, видно, аукнулось. Прямо какое-то наваждение — писатель, самым жесточайшим манером обделенный чувством юмора, вдруг не дает мне покоя...“ <...>

Сережу мои туманные соображения неожиданно возбудили, особенно же упоминание „Письма отцу“.

„Да, да, помнишь, что он там говорит? «Отец! Каждое утро, опуская ноги с дивана, я не знаю, зачем мне жить дальше...» Каждое утро! О!.. О!..“

И Сережа удрученно крутил головой и сам едва не шатался.

Слов этих я у Кафки потом не обнаружил, но они в „Письме“ со всей несомненностью и очевидностью прочитываются» (СС-1, 21—22).

Памяти Карла Проффера

Семь дней. 1984. № 48. 5 октября. С. 6—7.

С. 139. *Проффер Карл* (1938—1984) — американский литературовед-славист, переводчик, исследователь Набокова. Но главным делом Проффера стало основание в 1971 г. (вместе с женой Эллендией) в университетском городке Анн Арбор издательства «Ардис», в котором были опубликованы многие забытые и запрещенные в СССР авторы, нашли место самиздатовские произведения, открыты новые имена.

В «Ардисе» вышла «Невидимая книга» (1977), первая книжная публикация Довлатова. Довлатов навсегда сохра-

нил благодарность издателю, об этом личном аспекте (некролог рассматривает деятельность Проффера в общекультурном плане) отчетливо сказано в письме И. Ефимову (12 апреля 1982 г.): «Что же касается Проффера, то я испытываю к нему чувство благодарности за „Невидимую книгу“, которая ему не очень-то нравилась и издав которую или даже просто заявив в каталоге, Карл возвысил меня в собственных глазах и в глазах общества, помог мне выкарабкаться из почти беспрерывных запоев и уцелеть. Кроме того, я разделяю многие его внешние литературные соображения. <...> Если же Карл твердо и внятно предложит мне издать какую-нибудь книжку, я соглашусь хотя бы потому, что не хотел бы вызвать у него такую мысль: „Когда-то навязывал мне «Невидимую книгу» и трепетал, а сейчас воротил рыло“» (Переписка, 170). В «Ардисе» вышли «Наши» (1983) и, уже после смерти Проффера, «Ремесло» (1985).

Через семь месяцев после смерти Проффера, 1 апреля 1985 г., на вечере памяти издателя в Нью-Йоркской публичной библиотеке с воспоминаниями о нем выступил Иосиф Бродский (см.: Звезда. 2005. № 4).

Красные дьяволята

Семь дней. 1984. № 49. 12 октября. С. 44–45.

Рецензия на кн.: *Владимов Г.* Не обращайтесь вниманья, маэстро. Рассказ для Генриха Белля. Франкфурт-на-Майне, 1983.

В заглавии рассказа использована цитата из «Песенки о Моцарте» (1969) Б. Ш. Окуджавы.

Заглавие рецензии повторяет название известной детской повести Павла Бляхина (1926).

С. 145. *Владимов Георгий Николаевич* (наст. фам. Волосевич; 1937–2003) — критик и писатель, с 1983 г. в эмиграции, в 1984–1986 гг. главный редактор журнала «Грани», в котором были опубликованы ключевой рассказ «Компромисс» «Лишний» (1985. № 135) и «Рассказы из чемодана», вся книга без одного рассказа (1985. № 137). Автор повести «Верный Руслан» (1975), романа «Генерал и его

армия» (1996) и др. Умер в Германии, похоронен в Переделкино.

Довлатов ценил прозу Владимова. Письма Владимову и его жене критику Наталье Кузнецовой (1937—1997) — едва ли не самая интересная часть его эпистолярия. Кузнецова посвятила Довлатову некролог-воспоминание «Литература продолжается» (Русская мысль. 1990. № 3843. 31 августа); сокращенный вариант под заглавием «Памяти Сергея Довлатова» (Континент. 1990. № 65, последняя страница обложки).

Достоевский против Кожевникова

Семь дней. 1984. № 52. 2 ноября. С. 28—29.

В качестве контраста Достоевскому Довлатов выбирает фигуру официального писателя, хотя, возможно, и не самую одиозную.

С. 149. *Кожевников Вадим Михайлович* (1909—1984) — Герой Социалистического труда, депутат и лауреат, главный редактор журнала «Знамя» (1949—1984), активно участвовал во всех идеологических кампаниях, в частности, по его доносу был арестован представленный в «Знамя» роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

Кожевников издавал множество книг огромными тиражами, в том числе шеститомное собрание сочинений (1968—1971); девятитомное вышло уже после смерти (1985—1988). Однако среди его вполне конъюнктурных романов о революции («Заре навстречу», 1956—1957) и рабочем классе («Знакомьтесь, Балув!»), 1960) были интересные ранние рассказы о войне и вполне коммерческий военно-приключенческий «Щит и меч» (1965), удачно экранизированный. Этот роман тоже встречался на книжных толчках, правда, не по такой, как М. Булгаков, цене.

В жанре детектива

Семь дней. 1984. № 54. 16 ноября. С. 18—19.

Рецензия на кн.: *Поповский М.* Дело академика Вавилова. Анн Арбор, 1983.

С. 154. *Поповский Марк Александрович* (1922–2004) — писатель и публицист, эмигрировал в 1978 г. Сотрудничал в «Новом американце». Помимо рецензируемой книги, наиболее значительны две другие его работы в таком же документальном жанре: «Жизнь и житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и хирурга» (Париж, 1979) и «Русские мужики рассказывают» (Лондон, 1983).

Переизданная в России книга о Вавилове (М., 1990), при высокой оценке усилий М. Поповского по сбору материала, вызвала полемику по поводу «вины» Вавилова в возвышении Лысенко и искренности его сотрудничества с советской властью (см.: *Левина Е. С.* Беда или вина академика Вавилова? // *Природа*. 1992. № 8. С. 121–124).

В переписке Довлатова возникает сложный сюжет отношений с М. Поповским, в диапазоне от уважения и признательности за помощь в первые месяцы эмиграции до жесткой иронии и анекдотов. В шаржированном виде он изображен в публицисте Зарецком в «Невидимой газете» и «Иностранке». «Это был талантливый человек с дурным характером» (СС-3, 182). «Зарецкий был профессиональным разрушителем. Инстинкт разрушения приобретал в нем масштабы творческой страсти» (СС-3, 222).

В интервью радио «Свобода», данном в связи в восьмидесятилетием, Поповский тоже резко оценил творчество Довлатова как характерный симптом эмигрантской литературы: «Эмиграция для писателя — это трагедия. Прежде всего, человек исписывается. Он исписывает все то, что он привез с собой из России. Затем американского мира он не постигает все равно, и затем начинается литературная деятельность, которая близка по жанру к жанру пасквиля. То есть тогда, когда человек начинает писать произведения, в которых узнаваемы ближайшие ему фигуры, знакомые, приятели, и на них навешиваются слова и действия совершенно не реальные. И вот, к сожалению, эмигрантская литература богата очень жанром пасквиля, и это крайне огорчает. Я, наверное, кого-нибудь обижу и доставлю огорчение близким Сергея Довлатова, но все его книги написаны, на мой взгляд, в жанре пасквиля. То есть там нет художественных образов, созданных автором. Все

люди, которые там описаны, узнаваемы или по фамилиям, или по поведению, и все они написаны не по-доброму. Им приписывается много того, чего они и не делали».

Книгу о Вавилове Довлатов, однако, неизменно оценивал высоко: «С „Вавиловым“ от души Вас поздравляю, прочитал немедленно, все закреплено, последовательно и написано хорошо, в самом органичном для Поповского духе, он, конечно, молодец. Все там хорошо: и памфлет, и биография, и хитрости с документами, а главное — все меньше книг, которые ты способен прочесть до конца. А в „Новом американце“ Поповский был — слон в посудной лавке. Ну и характер, конечно, наждачный» (И. Ефимову, 24 февраля 1984 г.; Переписка, 291).

Любопытно, что, возвращаясь в СССР, книга Поповского о Войно-Ясенецком и довлатовская «Иностранка» встретились под одной обложкой, в одном номере журнала (Октябрь. 1990. № 4).

Антология смеха

Семь дней. 1984. № 56. 30 ноября. С. 24—25.

Рецензия на кн.: Юмор и сатира послереволюционной России. Т. 1—2 / Сост. Б. Филиппова при участии В. Медиша. Лондон, 1983.

С. 162. *Не случайно так популярно было в народе четверостишие, приписываемое то Михаилу Светлову, то Юрию Олеше, то Зиновию Гердту, то Юрию Благову...* — Автор эпиграммы является последний указанный автор, поэт-сатирик Юрий Николаевич Благов (1913—2003). Эпиграмма появилась в 1952 г. в связи с докладом Г. Маленкова на XIX съезде КПСС, в котором утверждалось: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины». Вариация первого стиха: «Нам, товарищи, нужны...» (см.: Эпиграмма. М., 2005. С. 52).

С. 163. *...пока мы умеем смеяться, мы останемся великим народом.* — Вариация афоризма, уже использованного в эссе из «Нового американца» (1980. № 41. 19—25 ноября), вошедшем в «Марш одиноких»: «И хочется

думать — пока мы способны шутить, мы остаемся великим народом!» (СС-2, 332).

Трудное слово

Написано, вероятно, в 1985 г.

Датируется по авторскому указанию в тексте эссе: «За шесть лет жизни в Америке». Довлатов появился в США в феврале 1979 г.

Первая публикация не установлена.

Папа и блудные дети

Грани. 1986. № 135. С. 291—294.

Рецензия на кн.: Орлова Р. Хемингуэй в России. Анн Арбор, 1985.

С. 168. Орлова (Либерзон) Раиса Давыдовна (1918—1989) — литературный критик, переводчик, жена ученого-германиста, диссидента, союзника и товарища Солженицына Л. Д. Копелева. С 1980 г. в эмиграции в Германии. Автор биографических книг о Дж. Брауне и Герцене и мемуаров (совместно с Копелевым) «Мы жили в Москве» (Анн Арбор, 1988; переиздано: М., 1990).

Увлечение Хемингуэем, папой Хэмом, как его любовно-фамильярно называли в 1960-е гг., Довлатов разделял вместе со своим поколением. В юношеском письме актрисе Тамаре Уржумовой (1 июля 1963 г.), давая большой рекомендательный список литературы (больше тридцати имен), наиболее подробно он пишет о Хемингуэе: «А вот предшественниками великого американца Хемингуэя можно считать кого угодно, от Эсхила до Стендаля, от Библии до японских трехстиший. <...> Два года назад умер Хемингуэй, писатель, которому я верил. Его кодексом была „Честная игра“. Всегда и во всем должна вестись честная игра. Мужчина должен быть прост и силен. Хладнокровных и рассудительных женщин он не любил. Все должно быть, как природа велела. Дети должны быть ребячливы, собаки послушны и т. д. Он любил легкую и теплую одежду, умных и чистых животных, сероглазых слабеньких жен-

щин, и сам был широкоплечий человек с круглым коша-
чим подбородком. Я Вам о нем напишу специальное пись-
мо. Он был настоящий писатель. Перечитывайте все, им
написанное. Особенно „Фиеста“, „Смерть после полудня“,
„Белые слоны“, „Убийцы“, „В наше время“, „Там, где чисто,
светло“» (Письма, 130). Специальное письмо не было на-
писано или не сохранилось. В рецензии Довлатов, помимо
прочего, защищает кумира своей юности от холодного вет-
ра и скептицизма прошедших десятилетий.

Перефразировка заключительных слов рецензии пере-
дана одному из эпизодических персонажей «Филиала»:
«Потом я услышал: — Вот, например, Хемингуэй... —
Средний писатель, — вставил Гольц. — Какое свинство, —
вдруг рассердился поэт. — Хемингуэй умер. Всем нрави-
лись его романы, а затем мы их якобы переросли. Однако
романы Хемингуэя не меняются. Меняешься ты сам. Это
гнусно — взваливать на Хемингуэя ответственность за
собственные перемены» (СС-4, 74). Кончается эта повесть
фразой, почти повторяющей последние слова романа
«Прощай, оружие!».

С. 169. *...Хемингуэю посвящали стихи Евтушенко и
Ахмадулина, а Виктор Платонович Некрасов, еще будучи
советским писателем, опубликовал хороший рассказ, кото-
рый так и был им озаглавлен — «Посвящается Хемин-
гуэю».* — Е. А. Евтушенко упоминает о Хемингуэе, в част-
ности, в стихотворении «Кладбище китов» (1967), где
«китами», наряду с ним, оказываются Толстой, Горький,
Пастернак; «Хемингуэй молчит, но над могилой грозно /
гарпун в траве торчит, проросший ввысь из гроба».
Б. А. Ахмадулина написала эпиграмму «На смерть Хемин-
гуэя»: «Охотник непреклонный! / Целясь, / ученого ты
был точней. / Весь мир оплакал драгоценность / послед-
ней точности твоей». В рассказе В. П. Некрасова «Посвя-
щается Хемингуэю» (1959) повествователь приносит бой-
цу-книгочею книгу рассказов Хемингуэя, его внезапно ра-
нили как раз во время чтения новеллы «Рог быка», и он
навсегда исчез из жизни рассказчика вместе с испачкан-
ной кровью книгой. «В Лешкином „жаль Пако, хороший
был парень...“, в этой фразе, сказанной через полчаса по-

сле того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Иполито. Он сказал о нем: „Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Иполито“. И на Лешку, хочется добавить мне» — таков финал Некрасовского рассказа.

Конец прекрасной эпохи

Грани. 1986. № 139. С. 301—304.

Рецензия на кн.: *Альтшуллер М., Дрыжакова Е.* Путь отречения. Анн Арбор, 1985.

С. 174. *Альтшуллер Марк Григорьевич* — литературовед, специалист по русской литературе пушкинской эпохи, в эмиграции с 1978 г.

Дрыжакова Елена Николаевна — исследовательница творчества Герцена, жена Альтшуллера, в эмиграции с 1978 г.

Рецензия написана на основе радиопередачи, сделанной Довлатовым для радио «Свобода». В письмах издателю книги сохранились еще два «домашних» отзыва о ней: «Да, Альтшуллер, конечно, героический человек. Это же надо — сочинить толстую книгу про оттепель, издать ее в „Эрмитаже“ <издательство И. Ефимова> и ни разу не упомянуть Ефимова!» (январь 1986; Переписка, 368). «Скрипт об Альтшуллере и Дрыжаковой я записал и даже отправил уже в „Панораму“. Только что выяснилось, что копии для Вас нет, но я сделаю на „Либерти“ и вышлю для порядка. Кстати, книга очень даже неплохая, внятная, разумная и добросовестная. Особого таланта в ней нет, но зато и глупостей нет никаких» (8 февраля 1986; Переписка, 373).

Конец прекрасной эпохи — заглавие стихотворения И. Бродского (декабрь 1969).

С. 177. *Альтшуллер и Дрыжакова утверждают, что ни одно стихотворение Иосифа Бродского не было опубликовано*

ликовано в Советском Союзе. Это ошибка. В СССР опубликовано не менее семи оригинальных стихотворений. — В очерке «Литература продолжается» говорилось о четырех стихотворениях.

Мы начинали в эпоху застоя

Написано после 1986 г.

Датируется на основании перечисленных «клише» советской прессы, которые появились после этой даты, в начале «перестройки».

С. 179. *Рахманов Леонид Николаевич* (1908—1988) — писатель и киносценарист, автор сценария «Депутат Балтики» (1936), мемуарной книги «Люди — народ интересный» и др.

ЛИТО — литературное объединение.

Довлатова Маргарита Степановна (1907—1975) — тетка Довлатова, ей посвящена пятая глава «Наших» (СС-2, 357—364). Издательство «Молодая гвардия» в Ленинграде отсутствовало, вероятно, речь идет о «Советском писателе»

С. 181. *Гор Геннадий (Гдали) Самойлович* (1907—1981) — писатель, начинал с экспериментальных рассказов и повести «Корова» (1929 или 1930), опубликованных лишь через двадцать лет после смерти. Позднее писал очерковые и документальные книги о Севере и философскую фантастику.

Меттер Израиль Моисеевич (1909—1996) — писатель и публицист, автор многих рассказов и повестей, среди которых наиболее известны повесть о собаке «Мухтар» (1960) и автобиографическая повесть «Пятый угол» (1958—1966, опубл. 1989). Письма Довлатова Меттеру с предисловием адресата см.: «Я рад, что мы с вами дожили до странных времен...» Восемь последних писем Сергея Довлатова // Петрополь. 1994. № 5. С. 144—61.

С. 183. *Косцинский Кирилл Владимирович* (псевдоним Успенский; 1915—1984) — прозаик, профессиональный

военный, участник правозащитного движения, арестован в 1960 г. и приговорен к четырем годам лагерей, в эмиграции с 1978 г.

С. 184. *Семенов Глеб Сергеевич* (1918–1982) — поэт, наиболее полное издание: *Семенов Г. Стихотворения*. СПб., 2004 (Новая библиотека поэта. Малая серия).

Это неперебиваемое слово — «хамство»

Написано в 1989 или 1990 г.

Указание в тексте: «Одиннадцатый год живу в Нью-Йорке».

С. 189. *«Путевка в жизнь»* — первый советский звуковой фильм (1931) о перевоспитании подростков в трудовой коммуне (режиссер Н. Экк).

Переводные картинки

Иностранная литература. 1990. № 9.

С. 200. *Пушкин написал когда-то: «Не продается вдохновенье...» Однако тут же добавил: «Но можно рукопись продать...»* — Из стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824).

С. 201. *Шундик Николай Елисеевич* (1920–1995) — писатель, наиболее известный романами о жизни чукотских оленеводов «Быстроногий олень» (1953) и «Белый шаман» (1979), главный редактор журнала «Волга» (1965–1976), позднее занимался литературно-номенклатурной работой в Москве.

С. 206. *Понимаешь, кого ты обидел? Ты единоутробного дядю обидел!..* — Вероятно, довлатовская контаминация двух рассказов Зощенко. Обиженный дядя есть в рассказе «Родственник» (1924); племянник-кондуктор требует у него оплату за проезд в трамвае: «— Мародерствуешь, — сердито сказал дядя. — Я тебя, сукинова сына, семь лет не видел, а ты чего это? Деньги требоваешь за проезд. С родно-

го дядю? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами». А единоутробным сыном называет себя Костя Печенкин, которого ограбили на улице: «А один из преступников, сняв с меня галоши, ударил по лицу. Удар пришелся по рту, отчего хлынула кровь у вашего, так сказать, единоутробного сына» («Три документа. Письмо к матери», 1924)

С. 209. *«Словарь блатного жаргона»*. Издал его в эмиграции писатель А. С. Скачинский. — См.: Скачинский А. Словарь блатного жаргона в СССР. N. Y., 1982. Автор словаря, Александр Сергеевич Скачинский, бывший заключенный, упоминается в «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицына, в эмиграции с 1977 г., в письмах Довлатова И. Ефимову есть несколько иронических упоминаний о нем.

С. 211. *Могильный Александр Геннадиевич* (род. 1968) — знаменитый хоккеист, в мае 1989 г. попросил в США политического убежища и долгое время играл в НХЛ (Национальной хоккейной лиге).

Умер Борис Шрагин

Синтаксис. 1990. № 28. С. 200—201.

Это один из последних текстов Сергея Довлатова. Он умер через девять дней после Шрагина (24 августа 1990 г.), и его некролог, написанный П. Вайлем и А. Генисом, был помещен в «Синтаксисе» сразу же за публикуемым (С. 201—204).

С. 217. *Шрагин Борис Иосифович* (1926—1990) — философ и публицист, диссидент-правозащитник, в эмиграции с 1974 г., работал в американских университетах и на радио «Свобода». Как эпизодический персонаж появляется в «Филиале».

Меерсон-Аксенов Михаил Григорьевич (род. 1944) — публицист и церковный деятель, в эмиграции с 1972 г., священник Американской православной церкви в Нью-Йорке.

Даниэль Юрий Маркович (1925—1988) — писатель и переводчик, за публикацию на Западе литературных произведений был осужден и четыре года провел в лагере (1966—1970), после освобождения жил в Калуге и Москве.

С. 218. *Баткин Леонид Михайлович* (род. 1932) — историк и публицист, автор работ по культуре итальянского Возрождения, участник неподцензурного альманаха «Метрополь» (1979).

СОДЕРЖАНИЕ

Филолог Довлатов: Зачет по критике. <i>И. Сухих</i> . . .	5
Уроки чтения	19
Рыжий	27
Соглядатай	32
Верхом на улитке	37
Последний чудак. <i>История одной переписки</i>	41
Выступления на конференции «Третья волна русской литературы в эмиграции (1981)»	50
Две литературы или одна?	50
Эмигрантская пресса	53
Как издаваться на Западе?	58
Будущее русской литературы в эмиграции	72
Литература продолжается. <i>После конференции в Лос-Анджелесе</i>	76
Блеск и нищета русской литературы	92
<Послесловие к книге Н. Сагаловского «Витязь в еврейской шкуре»>	110
Против течения Леты	112
From USA with love	117
Переписка из двух углов	124
Чернеет парус одинокий	129
Записки чиновника	134
Памяти Карла Проффера	139
Красные дьяволята	145
Достоевский против Кожевникова	149
В жанре детектива	154
Антология смеха	160

Трудное слово	164
Папа и блудные дети	168
Конец прекрасной эпохи	174
Мы начинали в эпоху застоя	179
Это неперебиваемое слово — «хамство»	186
Переводные картинки	191
Умер Борис Шрагин	217
Примечания. <i>И. Сухих</i>	219

Литературно-художественное издание

Сергей Довлатов

БЛЕСК И НИЩЕТА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Филологическая проза

Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Корректоры Алевтина Борисенкова, Ксения Зобова
Верстка Алексея Соколова

Подписано в печать 19.06.2013.
Формат издания 76 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 11,28.
Заказ № .

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



КАКВ1222702R